

ПАНАЕВ И.И.



**ДОЧЬ ЧИНОВНОГО
ЧЕЛОВЕКА**

Иван Иванович Панаев

Дочь чиновного человека

Содержание

#1	0005
ГЛАВА I	0006
ГЛАВА II	0044
ГЛАВА III	0057
ГЛАВА IV	0070
ГЛАВА V	0083
ГЛАВА VI	0098
глава VII	0106
ГЛАВА VIII	0122

Иван Иванович Панаев

Дочь чиновного человека

Повесть

Не сердись за правду!
В наш век, в разврате утучневший, про-
сит

Прощенья у порока добродетель
И ползает, моля о позволение
Творить добро ему же...
Шекспир.

ГЛАВА I

Уста мои сомкни молчаньем,
Все чувства тайной осени;
Да взор холодный их не встретит
И луч тщеславья не просветит
На незамеченные дни...
Веневитинов.

Чиновнику Терebenьину лет около шестидесяти; у него темные волосы с проседью, обстриженные под гребенку; маленькие глаза, почти без движения, цвета болотной воды, и толстые губы. Он небольшого роста и всегда носит вицмундир. Белый галстук несколько раз обвертывается кругом его шеи; этот белый галстук по утрам, в должности, бывает на нем не совсем чист, хотя, по словам его, он носит белые галстуки именно только для чистоплотности. "На черных-де, - говорит он, - незаметна грязь, а на белом вот сейчас так и видно малейшее пятнышко". У него три вицмундира: одни весь истертый по швам, который он носит в департаменте, другой поно-

вее, который он обыкновенно надевает по воскресным и табельным дням, также отправляясь куда-нибудь в гости к приятелям на бостончик или на вистик; третий, совершенно новый, хранится собственно для директорских обедов и вечеров. На днях Осип Ильич (так звали г-на Терebenьина) за долговременную и усердную службу представлен к награждению. Недавно он променял в

Гороховой улице у часовых дел мастера свои старинные, толстые, серебряные часы на серебряные же потонее. "Те, - говорит он, - в форме луковицы, кроме своей тяжести, весьма неудобны были для ношения, потому что совершенно препятствовали застегнуть вицмундир. Как застегнешь его, сейчас образуется горб на левом боку. Оно и некрасиво, да и трется это место скорее. А жаль, - прибавлял он, - часы были верные: только четыре раза в год поверять отдавал". До мая 1826 года Осип Ильич носил гусарские сапожки без кисточек; с мая 1826 года он носит узенькие панталоны без штрипок, подбирающиеся кверху, когда он садится. Чин действительного статского советника - любимейшая его фантазия,

цель, к которой он направляет все свои действия: если он сидит, сморщив брови и шевеля губами, он наверно размышляет о чине действительного статского советника; если ходит от одного угла комнаты до другого скорыми шагами, приставив указательный перст к середине лба, он думает: "Какими бы средствами поскорее достичь до такого почетного чина? Генерал! гм! Оно хоть и не совсем вельможа, а все-таки наравне с знатью. - Ваше превосходительство, Осип Ильич! - Что вам надобно? - Его превосходительству Осипу Ильичу! - А! это Теребеньину. - Вашему превосходительству,

Осипу Ильичу, известно, что... Да, да, славный чин действительный статский советник, и титулование приятное! Как бы это поскорее хоть в статские советники? Что ж? почему мне не быть действительным статским советником? почему?.. Да чем же лучше меня

Захар Михайлович? чем?" Осип Ильич терпеть не может ничего книжного и совершенно презирает всех писателей. Он никогда ничего не читает из печатного, кроме Адрес-календаря, Месяцеслова, Санкт-Петербургских

и Сенатских ведомостей. "Писатель! ну что ж? эка штука, писатель! - часто говаривал он. - Что в них, в этих писателях? пользу, что ли, какую приносят? Деловому человеку не очень есть время читать их побасенки-то.

Другое дело, когда в театр сходить посмеяться. Ну тут всё не то: и музыка играет, и костюмы разные, да и иной, черт его знает, так живо представляет". Осип Ильич перед обедом обыкновенно выпивает рюмку настойки Трофимовского. "Эта вещь солидная, лекарственная", - замечает он, глотая настойку, покрывая и поморщиваясь.

Супруга Осипа Ильича - дама лет сорока девяти, небольшого роста, толстая и необычайно коротконогая; лицо ее - круглое, как тыква, и шероховатое, как дыня- кандалупка, покоится на груди, потому что шеи у нее совсем не имеется. Она нрава довольно сварливого, занимается рачительно хозяйственной частью; за какие-либо проступки ислушание сама бранит лакея и мужика, который нанимается нарочно для ношения воды, мытья посуды и прочего (Осип Ильич в эти дела не вмешивается); три раза в день пьет кофе,

каждый раз по две чашки, несмотря на докторское увещание и на угрозу, что с ней может сделаться удар. Дома она ходит простоволосая, и волосы ее с очень заметною проседью, по причине жесткости своей, никогда не лежат на голове гладко, даже несмотря на то, что она два раза в неделю помадится полтинной помадой "au citron".

"Знаем мы, батюшка, эту французскую помаду, - говорит она, - черт ли в ней, от нее как раз волосы вылезут". В две недели раз по четверкам Осип Ильич обедает у директора; к этому уже привыкла Аграфена Петровна, и поэтому по четверкам в две недели раз она садится за стол двумя часами ранее обыкновенного, то есть вместо четырех в два, приговаривая: "Вот это христианский час, а то жди себе до четырех часов, - ведь и аппетит пропадет совсем". И, несмотря на эту фразу, Аграфена Петровна всегда очень аппетитно кушает. В год два раза Осип Ильич позволяет себе некоторые вольности, например, обедать где-нибудь во французской ресторации, преимущественно у Дюме, сговорившись заранее с двумя, тремя приятелями - своими сверстни-

ками.

- Копейка лишняя завелась, - говорит он, улыбаясь, - что делать?

В эти торжественные дни физиономия Осипа Ильича с самого утра выражает совсем не то, что обыкновенно; он все как-то искоса поглядывает на Аграфену Петровну, полуулыбается и покашливает:

- Аграфена Петровна! Аграфена Петровна!

- Ну, что там такое?

- Дайте-ка-с, матушка, чистую манишку да шейный платок. - При этом он берет щепотку табаку и с расстановками внюхивает его в себя, как бы желая придать себе этим несколько более твердости.

- Да куда же это вы идете, Осип Ильич? Давно ли я дала вам чистый платок и манишку? Что за наряды в департаменте? И в этом просидите, невелика важность!

- Оно конечно, да все, знаете, не так хорошо. Вот, говорят, сегодня какой-то военный генерал будет. Ему, дескать, директор будет показывать департамент, так слышно; как же начальствующим лицам... ведь надобно же почище одеться.

- Да мало ли что врут! А разве директор-то не сказал бы тебе об этом?

Осип Ильич при таком вопросе принялся снова за табакерку и задумчиво перебирал руками табак.

- Сказал, оно конечно... А что, Аграфена Петровна, у вас расходных-то, я чай, немного осталось? Впрочем, что ж? вот скоро и треть подвигается. Уж нынче третнее я все сполна вам отдаю.

- И давно бы так, батюшка! Подержи-ка хоть раз сам расход, так и увидишь, что значит: и туда деньги, и сюда деньги, и то вздорожало, и другое вздорожало...

- Все отдам, все сполна, до копеечки.

- Смотрите же, Осип Ильич.

- Ей-богу! Аграфена Петровна. А что же, чистую-то манишку?

- На вас и гладить не упасешься: чистую да чистую, подавай откуда хочешь.

- Вы сегодня не ждите меня обедать - зава-лен делами: может, и до пяти часов придется посидеть.

- Да говорите без обиняков. Что вы, обе-дать, что ли, куда собираетесь?

- Может статься, и обедать куда пойдем.
- Куда же, нельзя ли узнать?
- Марк Назарыч с Николаем Игнатьичем приглашают меня.

- Уж предчувствовала, предчувствовала! На дебош в какую-нибудь немецкую ресторацию. Там славно обирают русские денежки; мастера, нечего сказать! Только попадись к ним - обдерут как липку.

- Марк Назарыч говорит, что...

- Знаем мы твоего Марка Назарыча: ему бы на чужой счет пожуировать, а в доме трава не расти. Палагея Емельяновна все порассказала мне, все: кровавыми слезами плачет бедняжка, истинно кровавыми; кулаком слезы утирает.

- Ну да я пожалуй и не пойду.

- Идите, ждите, никто не мешает вам; а небось как спросишь: "Осип Ильич, на расходы надо", - так и закобенется. "Да откуда мне взять денег? да что я, делаю, что ли, деньги?" А вот как на дебоширство, так небось есть.

- Ну, ну, бог с вами! сказал, что не пойду.

Это со стороны Осипа Ильича была только одна фигура уступления; после долгого крика

и шума он поставлял-таки на своем, выпрашивал чистый галстук и манишку и после присутствия отправлялся с приятелями покутить.

У Дюме они выпивали обыкновенно каждый по бутылке простого столового вина, белого или красного, смотря по вкусу; каждый спрашивал по бутылке шампанского, и все вместе обращали на себя всеобщее внимание.

Осип Ильич, наливая в стакан красное вино, сперва подносил его к носу.

- Вино ординарное, Марк Назарыч, а букет хорош; понюхайте.

Потом, сморщивая брови, он приподнимал стакан к свету, поворачивая его в руке, все перед светом, и, после таких маневров, обращался снова к Марку Назарычу:

- И цвет не дурен: густоват, правда, немножко. Что, я думаю, им обходится по полутора бутылка?

В заключение он выпивал стакан и обтирал салфеткою губы.

Точно как для мужа были истинно высокопоздравительными днями в жизни те дни, в которые он обедал во французской рестора-

ции, - так для жены те, в которые она ходила с визитом к генеральше Поволокиной, у супруга которой ее Осип Ильич был стряпчим, или, говоря высоким слогом, ходатаем по делам.

Муж, припоминая что-либо, всегда говаривал:

- Когда же это было? с месяц, что ли? Последний-то раз я обедал у Дюме шесть недель тому назад. Ну, да оно так и будет. - И в таком случае, жена почти всегда возражала ему:

- Что ты это? перекрестись, голубчик. Ведь это было за две недели до рождения ее превосходительства Надежды Сергеевны Поволокиной; а я после того еще раз была у нее перед заговенами.

Осип Ильич был человек, как мы уже выше заметили, очень нужный для супруга этой Надежды Сергеевы Поволокиной, и потому он очень дорожил Осипом Ильичом. Он посылал его по своим делам и в гражданские палаты, и в уездные суды, и в конторы маклеров. Осип Ильич, - надо отдать ему справедливость, - в приказных делах был человек сведущий, потому что начал свое служебное по-

прище с гражданской палаты.

Генерал Поволокин решительно не занимался ничем домашним; он даже редко бывал дома: утром в должности, а вечером в Английском клубе, к перу от карт и к картам от пера, по словам Грибоедова, давно обратившимся в пословицу. 500 наследственных душ его, заложенные и перезаложенные, едва ли не пять лет сряду показывавшиеся в

"Прибавлениях" к "Санкт-Петербургским ведомостям", немного приносили дохода; и если бы не другой доход, гораздо повернее первого, то г-жа Поволокина должна бы была весьма посократить свои издержки на булавы и на прочее. Впрочем, г-н Поволокин слыл в Петербурге за человека богатого: он имел четверню лошадей, квартиру, меблированную если не изящно, то довольно роскошно: штоф на мебели, бронзовые канделябры и часы, алебастровые вазы; правда, все это не очень блестящее, ибо пыль слоями покрывала все эти вещи; правда, что его передняя была и темна и грязна, что она пахла ламповым маслом, - но это уже не была вина г-на Поволокина, а скорее г-жи Поволокиной, которая

всегда и всем кричала о своих хозяйственных дарованиях.

В этом случае Надежда Сергеевна и Аграфена Петровна чрезвычайно разнились друг от друга: последняя чистоту в доме ставила выше всего на свете.

- Опрятность есть добродетель, - говаривала она и, несмотря на это мудрое изречение, только один раз в неделю, по воскресеньям, исключая экстраординарных случаев, выдавала Осипу Ильичу чистую манишку и шейный платок. Часто, смотря на его шею, она думала: "И точно грязноват платок-то; ну, да что за беда, еще дня три проносит; ведь от частой стирки белье рвется..."

Она сама ежедневно утром вытирала пыль в гостиной и в зале с диванов, со столов, со стульев и комодов, с разных вещей, как-то: с стеклянного колпачка, под которым лет восемь покоился сделанный из воска и раскрашенный амурчик в колыбели, с зеркала над диваном и с силуэта своей бабушки, который висел, оклеенный в цветную бумажку, под зеркалом в гостиной. Ерани и рута, стоявшие в зале на окнах, зимою через день, а летом ак-

куратно всякий день поливались также ее собственными руками. Последнее растение, то есть рута, кроме украшения комнаты, приносило еще и пользу, а именно употреблялось

Аграфеною Петровною для полоскания рта.

17-го сентября 18**, в день святых Веры, Софии, Любви и Надежды, в который начинается наше повествование, Аграфена Петровна проснулась ранее обыкновенного, то есть часов около шести, и занялась приготовлениями к своему туалету. Это был день именин Надежды Сергеевны и дочери ее Софьи Николаевны. Аграфена Петровна должна была отправиться с поздравлениями. К 11 часам она была уже совершенно готова: в чепце с кружевными крылышками, украшенном лентами цвета адского пламени, в желто-коричневом гроденаплевом капоте, в красной французской шали, при клеенчатом, в клетку сплетенном ридикюле и в кожаных полусапожках со скрипом. В 11 часов лакей в грязной ливрее и в изорванных сапогах посадил ее в извозчичью четырехместную карету, за

неотысканием двухместной. "Но... ну... но... небось" - и карета двинулась. В половине

12-го Аграфена Петровна прибыла к дому г-жи Поволокиной, запыхавшись взошла на лестницу, и лакей дернул за ручку колокольчика.

- Что, дома ее превосходительство Надежда Сергеевна?

- Дома, да в уборной-с.

- А Софья Николаевна?

- К барышне можно-с.

Генеральская дочь сидела в своей комнате, в белой блузе; на плечах ее была накинута шаль; перед ней на пюпитре лежала развернутая книга. Ей казалось на лицо двадцать пять или двадцать шесть лет; она не имела той красоты, которая бросается прямо в глаза каждому и в гостиных, и в театрах, и на улицах, - этой скульптурной красоты, доступной равно для глаз всех; но она не принадлежала также к тем счастливым девушкам, о которых небрежно говорят: "Да, хорошенькая" или с гримасой снисхождения: "Конечно, она недурна; такая миленькая!"

Может быть, пройдя мимо ее, вы бы вовсе

не заметили ее и, конечно, посмотрев на нее, не произнесли бы этих общих, изношенных, пошлых фраз: хорошенькая, миленькая!

Многие даже находили ее дурною, и, право, грех было спорить с этими господами. Слово:

"дурна", в устах таких людей, не могло быть оскорбительно для нее: это не то, что слово

"хорошенькая"!

Ее лицо было задумчиво; оно всегда мыслило, всегда говорило; что-то болезненно-бледное было в цвете лица ее, что-то страшно-тоскливое в ее черных, глубоких очах.

Посмотрев на нее, вы стали бы в нее вглядываться; вглядевшись, вы бы захотели насмотреться на нее; наглядевшись, вы бы, может быть, задумались и спросили самого себя: для чего рождаются такие существа? для чего живут они? многие ли поймут их и оценят?

В самом деле, жизнь Софьи - одно из самых горьких явлений современного общества - была достойна полного внимания, наблюдения неповерхностного. Мы, с таким рвением, с такою пытливостью изучающие жизнь лю-

дей великих, имена которых нарезаны веками на скрижали бессмертия, мы, дивящиеся силе их воли, их героизму, их самоотвержению, - мы не знаем, что среди нас, в этом обществе, в этой мелкой жизни, в которой бесцельно кружимся, есть характеры не менее великие, не менее достойные изучения. Не их вина, что они обставлены другими обстоятельствами, что они действуют в ограниченном домашнем кругу, а не на обширном гражданском позорище. Посмотрите на страшную борьбу образования с полуобразованием или с явным невежеством, ума и чувства с закоренелыми предрассудками, - на эту борьбу, немилосердно раздирающую тысячи семейств. Вот перед вами жертвы этой борьбы, безропотно, незаметно сходящие в могилу, непонятые и неоплаканные. Остановитесь на этих могилах с слезою благоговения... Но не в том дело, я должен познакомить вас с матерью Софьи.

Это была, изволите видеть, женщина не совсем глупая и не совсем умная, а так, что-то среднее между тем и другим, сорокапятилетняя кокетка, павлинившаяся тем, что ее муж

был важный чиновник; неловкая и странная, как цифра, сделанная из нуля; смешная чиновница перед какой-нибудь княгиней и карикатурная княгиня перед чиновницей, - полуобразованная, и потому без всякого снисхождения... Образчики таких женщин вы верно встречали в среднем петербургском обществе.

Надежда Сергеевна всегда с жеманною полуулыбкой смотрела на ласки своей дочери, сердце которой требовало любви материнской, и, поправляя ленты своего чепца перед зеркалом, говорила небрежно: "Полно, милая, к чему эти нежности? Вот цвет, который, кажется, совсем не к лицу мне. Не правда ли?" Такие вопросы оставались часто без ответа, и такого рода молчание незаметно вооружало мать против дочери. Женщина полуобразованная редко отличает лесть от ласки: в ее понятиях это - решительно синонимы. Лесть действует на самолюбие, ласка - на чувства. Самолюбием наделены все мы, чувствами - немногие, и вот почему лесть в таком ходу, в таком уважении в этом мире; и вот почему мать Софьи называла ее часто неблагодар-

ной, нечувствительной дочерью. Оскорбляемая такими словами, бедная девушка не могла понять, почему они, эти ужасные слова, могут применяться к ней. Она заглядывала в глубину своего сердца, поверяла все свои мысли, отдавала себе отчет в каждом слове, произнесенном ею перед лицом матери, старалась даже припоминать выражение лица своего в то время, когда она говорила с нею, - и, заливаясь слезами, почти без памяти упала головой на свой рабочий столик, бывший единственным свидетелем ее страданий.

"Господи! - думала она, - ты видишь мое сердце. Разве я не свято исполняю обязанность дочери? Господи! наставь меня, вразуми меня, покажи мне вину мою. Отчего же я неблагодарна? Отчего же я бесчувственна?"

Софья изнывала от тайных страданий, и только бледность лица ее и постоянно тоскливое выражение очей изобличали, что ей не сладка жизнь. Но это не трогало матери, напротив, еще раздражало ее. Она называла ее капризной девчонкой. Она говорила ей, стараясь придавать словам своим умышленно обидный тон: "Что это ты приняла на себя

вид какой-то жалкой, притесненной, обиженной? Ты и без того не очень хороша, а это, право, нейдет к тебе..."

Но днями истинной пытки для Софьи были те дни, в которые отец ее давал у себя вечера, или балы, как говорила Надежда Сергеевна.

На эти "балы" были всегда приглашаемы, лично самим г-ном Поволокиным, две или три княгини или графини, с мужьями которых он имел постоянные сношения, по картам. Эти княгини и графини показывали, что делают ему в полном смысле честь своим посещением. За несколько дней до такого бала супруга г-на Поволокина принимала на себя вид гораздо важнее обыкновенного: она чаще и сердитее обращалась к дочери. "Как ты странно держишься, милая! В твоей турнире нет никакой грасы. Вот посмотрела бы ты на графиню Д* - загляденье просто: как войдет в гостиную, так и говорить не нужно - всякий узнает, что графиня. Так нет себе, где! У нас хорошего перенимать не любят. Вот хоть бы прошедший раз, когда у нас была княгиня, я просто не знала, что делать: не замечает ее, -

и чем же занимается? Забилась в угол, да и изволит разговаривать с

Катенькой Пороховой: экая невидаль! Другая, на твоём месте, прочь бы не отошла целый вечер от княгини, предупреждала бы её малейшие желания, так бы и глядела ей в глаза.

Ну, а то что она теперь о тебе подумает? уж верно скажет: экая дура, и слова-то сказать не умеет - такая невоспитанная! А кажется, матушка, потратили-таки на твоё воспитание довольно. Каких учителей не нанимали! Вот посмотри, полюбопытствуй, у отца в кабинете есть счетец, что ты ему стоила. А он не бог знает какой миллионер!"

Неловкое унижение матери Софьи перед княгинями и графинями, грациозная недогадливость, очаровательная важность этих госпож показали ей неизмеримое расстояние между ими и ею. Она с негодованием видела, как среднее сословие карикатурно вытягивается до подмосток, на которых величается аристократия, и с какою милою и снисходительною насмешкою эта аристократия смотрит на жалкие усилия легонького дворянства.

Все это сделало на нее сильное впечатление и отдалило ее от общества, в котором она, по собственному сознанию, не могла играть никакой роли. Она выезжала потому только, что ей было приказано выезжать, и не отделялась в гостиных от массы. Это ничтожество в обществе нисколько не оскорбляло ее самолюбия: она знала, что наделена всеми средствами, которые бы должны были вывести ее на авансцену, но что только собственная воля заставляет ее не употреблять ни одного из этих средств и постоянно оставаться в глубине сцены. Там из простой, невольной зрительницы она вскоре сделалась невольною наблюдательницей. Мимо ее мелькали тысячи движущихся существ обоего пола, убранных самыми бессмысленными прихотями, разукрашенных самыми безумными предрассудками, которые назывались светскими приличиями. Это был пресмешной маскарад, пестрее, разнообразнее и бессмысленнее итальянских карнавалов, смешной еще более потому, что все эти движущиеся существа нисколько не подозревали нелепости своих костюмов и, задыхаясь под безобразными масками, го-

товы были божитья, что они ходят с открытыми лицами. По крайней мере высшее общество, как французский водевиль, при всей своей пустоте, показалось ей в первый раз заманчивым, потому что оно имеет и блеск, и остроту, и каламбуры, и как будто наружный смысл; к тому же она видела издалека это общество: но среднее, - о, среднее общество! - оно показалось ей тем же французским водевилем, только презабавно переделанным на русские нравы.

Вот какова была дочь генерала Поволокина, и вот какова была жизнь ее. Утром 17 сентября 18**, она, как мы говорили выше, сидела в своей комнате, задумавшись над книгою. И читатели наши могут представить положение ее в ту минуту, когда она обернулась на скрип отворявшейся двери и увидела перед собою шарообразную чиновницу с кожаным ридикюлем в руке и с лентами цвета адского пламени.

Но Софья закрыла книгу, встала со стула и с своей обычною приветливостию пошла навстречу гостье.

- Имею честь поздравить ваше превосход-

тельство с днем ангела. Осип Ильич приносит вам также чувствительнейшее свое поздравление.

Проговорив это приветствие, она едва не задохлась.

- Садитесь, Аграфена Петровна; очень рада вас видеть; вы никогда не забывали этого дня - всегда беспокоитесь сами...

- Как же можно забыть, Софья Николаевна? Помилуйте, да что же после этого и помнить! Я и Осип Ильич очень чувствуем, поверьте, очень помним все милости и его превосходительства, и ее превосходительства, и ваши.

Софья кусала губы.

- Полноте, полноте, Аграфена Петровна; может быть, папенька и маменька, но я еще ничего не могла сделать...

- Чувствуем, матушка, - перебила чиновница, - все ваши благодеяния, вполне ценим и чувствуем; все, таки все по гроб не забудем; я - вот, как перед богом, говорю перед вами - такой человек, как ваш батюшка, на редкость в нынешнем свете. Уж подлинно сказать, нынче переводятся хорошие люди... А как в

своём здоровье её превосходительство?

- Маменька, слава богу, здорова; она сейчас придет; она, верно, еще не знает, что вы здесь.

- Не беспокойте её превосходительство, ради бога не беспокойте, Софья

Николаевна, прошу вас; знаю, очень хорошо знаю, что такое хозяйка: и туда заглянь, и в другое место, и в третье - везде нужно; день-деньской пройдет, не увидишь. Какую это вы книжку изволите читать? позвольте полюбопытствовать.

- "Корреджио" Эленшлегера.

- Про такого сочинителя я не слыхала. Господи, подумаешь, сколько на свете есть сочинителей!.. Ах! - И при этом ах - Аграфена Петровна вскочила со стула и покатила на встречу входившей в комнату Надежды Сергеевны:

- Матушка, ваше превосходительство! усерднейше поздравляю вас! Дай бог вам еще сто раз праздновать этот день, дожждаться и внучек и правнучек, поскорее пристроить Софью Николаевну, чтобы...

- Благодарю вас, милая. Садитесь. Что муж

ваш?

- Слава богу, ваше превосходительство, здоров, вашими молитвами. Ни днем ни ночью покоя по службе нет, все себе пишет. Уж, нечего сказать, много видала усердствия к службе, а такого, так истинно скажу, на редкость. Говорю: побойся бога, Осип Ильич, ведь ты человек: долго ли занемочь? кажется, ты уж составил себе реноме. Нет, говорит,

Аграфена Петровна, на то уж, говорит, присягу дал: в гроб лягу, а служить не перестану.

Что с ним будешь делать?.. Утром перед департаментом лично был у вас с поздравлением.

При этом слове г-жа Теребенкина немного привстала.

- Да, мне сказывали, - говорила небрежно Надежда Сергеевна, - это было еще очень рано, я спала.

- Знаю, знаю, матушка ваше превосходительство, вы не то, что наша сестра: почиваете, покуда почивается. Какая работа в вашем звании!.. Вот мы, бедные люди, в поте лица добывающие хлеб, так это другое дело.

- Однако, милая, если бы я не хозяйничала

сама, то весь дом у меня пошел бы вверх дном... Что моя дорогая именинница? - И, протяжно произнося это, она рассматривала шаль, накинутую на дочери. - Очень хороший цвет.

- Прекрасный, бесподобнейший... Да уж может ли быть у вас что-нибудь дурное?

Кому же и иметь хорошее? Уж вы мне простите, простой женщине, ваше превосходительство, а уж я скажу, как вас вместе видишь с Софьей Николаевной, так вот сердце и радуется. Такой материнской любви поискать в нынешнем веке!

- Да; кажется, она не может на меня пожаловаться: я всю жизнь посвятила ей, я для нее всем жертвовала.

- И сейчас видно.

Софья избежала взора матери, который жадно выжидал ответа на фразу, заранее составленную и употреблявшуюся при всяком удобном случае.

- Как натурально сделано! - начала Аграфена Петровна, смотря на литографированный портрет, стоявший на столике против нее. - Не родственника ли вашего, смею спросить,

Софья Николаевна?

Мать и дочь улыбнулись в одно время.

- Это портрет английского писателя Байрона, - отвечала Софья покрасневшись, скороговоркою.

- Она влюблена в книги, - говорила насмешливо Надежда Сергеевна, - ей бы только с утра до ночи сидеть в своей комнате да читать. Рукоделием так мы не очень любим заниматься. А с одним чтением не так-то далеко уедешь.

- Очень хороший портрет, - продолжала Аграфена Петровна, - только жаль, что не покрашенный, а вот с Осипа Ильича недавно писал в миньятюрном виде портрет красками один молодой человек, живописец, дальний наш родственник. Удивительнейшее сходство! просто живой сидит, только что не говорит - так трафит, что чудо! Недавно писал он с генеральши Толбуковой, и та осталась довольна, и двести ассигнациями дала ему за портрет.

- В самом деле? Меня муж все просит, чтоб я списала с себя и с нее портреты (тут она указала на дочь). Пусть бы он принес показать

свою работу, для образчика; я бы, может быть, заказала ему оба портрета.

- Очень рада услужить вашему превосходительству: дам ему знать непременно; он за честь должен себе поставить списывать с вас портрет. Вы им останетесь довольны; у него руки золотые, да язычок-то не совсем чист. Мог бы обогатиться, ей-богу правда, пиши только портреты, а то - где! хочу, говорит, большие картины писать, а иной раз и хлеба нет. Все мать избаловала! Уж это баловство никогда до добра не доведет. Впрочем, он ее своими трудами кормит. Пришлю его к вам, пришлю, матушка ваше превосходительство.

- Не забудьте, милая! - проговорила Надежда Сергеевна, вставая со стула.

- Ни за что не забуду.

Аграфена Петровна также встала со стула.

- Прощайте, ваше превосходительство! прощайте, Софья Николаевна. Когда же его прислать прикажете?

- По утрам, часов до двух, я всегда дома. Да чтобы он работу свою принес, - не забудьте.

- Слушаю, слушаю! Прощайте, ваше превосходительство; прощайте, Софья

Николаевна.

- Прощайте, милая; благодарю вас.

Софья проводила Аграфену Петровну до двери передней.

- Ради бога, не беспокойтесь, прошу вас, сделайте такую милость, Софья Николаевна.

Наконец, слава богу, Софья осталась одна! Она хотела отдохнуть от визита чиновницы и снова принялась за свою книгу, в то время, как во всем доме бегали, суетились, кричали по случаю приготовления к балу, долженствовавшему быть вечером.

Но вдруг она отложила книгу в сторону, опустилась глубже в кресла и задумалась.

Воображению бедной девушки было тесно в этом ограниченном, жалком кругу, в который закинула ее прихотливая судьба. Это неутомонное воображение редко оставляло ее в покое; начнет ли она засыпать, оно пригонит кровь к ее сердцу, и она вздрогнет и пробудится; станет ли читать она, книга выпадает из рук ее, и она лениво скрестит руки и небрежно прислонится к сафьянной подушке дивана. Воображение высоко поднимало

ее грудь, грациозно опускало ей на бок голову, заставляло ее так печально вздыхать и так мило задумываться. Вот отчего и в эту минуту она отложила книгу в сторону и остановилась на мучительном разговоре Корреджио с самим собою, по уходе

Микеланджело. Как хорошо понимала она страдальческие речи Аллегри... Художник!.. это имя было так заманчиво для нее; с этим именем соединялся для нее целый мир идей новых, возвышенных, бесконечных. Озаренный лучом вдохновения, художник являлся перед нею существом высшим, таинственным, поставленным между небом и землею, ослепительным венцом божьего создания. Она не подозревала в художнике человека, потому что не могла соединить этих двух идей. Она бы решительно не поняла вас, если бы вы стали говорить о частной жизни художников: о скупости Перуджино, о буйной жизни

Рафаэля и Дель-Сарто, об алчности к деньгам Рембрандта. Художник не мог иначе представляться ей, как в образе Гвидо-Рени, который с угрызением совести брал деньги за

труды свои, считая это унижением искусства, работал с покрытою головой даже в присутствии папы и отказывался на предложения герцогов, призывавших его в свои владения, из одного только страха, чтобы при дворах их искусство не было унижено в его лице. Софье показался очень странным поступок Анджело с Антонио; она ужасно рассердилась на Элен-шлегера за эту сцену. "Мог ли быть таким великий Буонаротти?" - подумала она, и, погружаясь в мечту более и более, она, от великого Буонаротти, перешла мыслию к этому бедному художнику, о котором говорила чиновница. Ей так бы хотелось взглянуть на какого-нибудь художника, удостовериться, похож ли он на ее мечту, на ее создание? Что, если в самом деле он, этот художник, рекомендованный Аграфеною

Петровною, не какой-нибудь наемный пачкун, а человек с талантом? Он кормит мать-старушку трудами своими: стало быть, у него доброе сердце; он порывается создать что-нибудь большое: стало быть, он чувствует в себе талант... О, это должен быть настоящий художник! И при этой мысли сердце Со-

фьи сильно забилося. Боже мой! и маменька послала звать его к себе, с тем чтобы он принес образчики своей работы. Как это покажется ему оскорбительным! Образчики работы... будто он какой-нибудь торгаш.

Впрочем, может быть, он и не то, что я думаю, сказала она про себя, и опять открыла книгу.

Между тем голос ее матери раздавался по всем комнатам; она кричала на лакеев и девок: "Вытрите хорошенько в зале с окошек; вас везде надо натывать носом. Да чтоб вечером лампы-то хорошенько горели, а то прошедший раз я за вас сгорела от стыда. Вот бог дал дочку: изволит заниматься романами, - не то, чтобы пособлять матери! Растишь, растишь, думаешь, что будет утешением, а вот!.. Свечки-то восковые поставьте в тройники да обожгите".

- Да свечек недостает, ваше превосходительство.

- Так пошлите скорее в лавку этого лежебока Ваську...

Весь день Надежда Сергеевна косилась на свою дочь, и, по разъезде гостей, она имела

такой громкий разговор с нею, что бедная, задышавшаяся от слез девушка едва могла его вынести. Главною причиною гнева матери, разразившегося в этот раз так жестоко над дочерью, был неприезд одной княгини, на которую она очень надеялась, чтобы посещением ее блеснуть перед высшим чиновничеством.

Софья долго молилась и плакала. Молитва и слезы облегчили ее. Под утро она заснула; но сон ее был беспокоен: она поминутно вздрагивала и просыпалась. Ей снилось, что она стоит на самой окраине бездны; сердце ее замирало, голова кружилась, и она упала в глубину, а там, на дне этой глубины, сверкали перед ней гневные очи ее матери,

- или эта женщина стояла перед ней с угрожающими жестами, произнося такие страшные слова... Она бросалась перед нею на колени, но та беспощадно отталкивала ее и не сводила с нее своих пронзительных очей.

Она проснулась от боли, но сон скоро снова сомкнул ее глаза - и вот перед нею стоит этот художник, о котором говорила Аграфена Петровна: "Он пришел, - говорят ей, - списывать с вас портрет". - "Не с меня, а с мамень-

ки". - "Нет, с вас". Она подходит к нему, смотрит на него. Как он хорош собою; какое выражение в глазах его! Он смотрит на нее с такою любовью и вместе так застенчиво. Ей стало легко и приятно... Разве он меня любит? Неправда! в мире нет существа, которое бы меня любило. Я одинока... А вот, вдали, старушка мать его, которую он кормит своими трудами. Софья подходит к нему, он берет ее за руку, но она отдернула от него руку, смотрит на него - и что же? перед нею опять эти сердитые глаза, и они режут ей сердце. Она вскрикивает, она чувствует, что все это во сне, хочет проснуться - и не может... И вот снова он перед нею - и ей становится легче. Грустный и одинокий, сидит он в огромной зале, а около него толпится буйная чернь, не замечая его. Эта чернь величает себя громкими именами любителей, покровителей искусства, и важно расхаживает, и останавливается перед картинами, висящими в зале, и бесстыдно произносит свои решения - дерзкие и нелепые, и святотатственно ругается над искусством... Он слышит эти речи - и, кажется, ему становится еще тяжелее, еще грустнее.

"Так это-то наши ценители? - говорит он. - Эти-то люди даруют нам славу? от них-то зависит наша участь? Они поручают нас бессмертию?..

Боже! боже! для чего ты обнажил передо мною эту тайну? Мне легко было в моем неведении, я думал, что глас народа - твой глас, боже!" Кто-то выходит из толпы, и толпа перед ним расступается; он идет мерным шагом, с нахмуренным челом, важно, самодовольно; он дерзче и самоувереннее всей этой дерзкой и самоуверенной черни; он кричит: "За мною, за мною! я покажу вам чудо искусства! на колени!" И вся эта масса двинулась за ним, и он отдернул занавес и указал им на картину, висевшую за занавесом.

"Вот вам картина, в ней соединяется все: мягкость кисти, легкость исполнения и правильность рисунка Гвидова, простота, изучение природы и антиков Доминикина, и грандиозность Леонардо да Винчи!" И вся эта чернь с разинутыми ртами слушала оратора, и начала дивиться картине, и разразилась громом нелепых кликов и неистовых рукоплесканий. "Где он? где этот великий худож-

ник? мы хотим его видеть, мы хотим увенчать его!" - повторялось каждым порознь и вдруг всеми. Оратор искривил рот улыбкою и, указав туда, где сидел бедный художник, воскликнул: "Вот он!" Беснуясь, бросилась к нему чернь. Он видел и слышал все, он с непонятною силою раздвинул в обе стороны волны народа, нахлынувшего к нему, и остановился перед лицом виновника торжества своего. Лицо его было бледно, губы дрожали от гнева. "Кто дал тебе право богохульствовать?" - произнес он замирающим голосом, опустив на плечо его железную руку. Но силы оставили его, и он грянулся трупом на пол. Оратор захотал и оттолкнул нотою труп. Черты этого человека делались явственнее для Софьи; ей показалось, что он смотрит на нее глазами ее матери, подходит к ней, указывая на труп, и говорит: "Вот что такое слава!" - и опять хохочет. Сердце ее замирает от ужаса... Она вздрагивает и просыпается. Уже давным-давно утро, 11 часов - и она, измученная, поднялась с постели от страданий мечтательных к страданиям действительным. Неприятное предчувствие тяготило ее. Она подошла к зеркалу,

глаза ее распухли от слез. "Вот, - подумала она, - новая причина для гнева маменьки. А этот сон? Всегда, говорят, о чем много думаешь, то непременно должно присниться; утром же я так раздумалась о художниках!"

Прошло дня три после этого; на четвертый день утром лакей докладывает, при

Софье, ее матери:

- Какой-то живописец пришел, ваше превосходительство, и спрашивает вас; говорит, что прислан от госпожи Теребеньиной.

- Позови его в залу, - сказала Надежда Сергеевна. - Пойдем посмотреть, - продолжала она, обращаясь к дочери, - что это за фигура. Я что-то не очень верю рекомендации этой Теребеньиной.

Они вошли в залу. "Где же живописец?" Надежда Сергеевна осмотрела всю залу и потом, с заимствованною у одной княгини гримасою, кивнула головою входившему молодому человеку, который довольно ловко и вежливо раскланивался.

Софья взглянула на него - и глаза ее помутились. Она только невнятно прошептала:

"Странное сходство!" - и облокотилась на

СТОЛ.

- Что с тобой? - возразила Надежда Сергеевна, заметя движение дочери.

- Мне дурно... - прошептала она и покачнулась.

- Ай, ай! что это такое! Палашка, Грушка, сюда, скорей!

В эту минуту послышался звонок в передней.

- Его сиятельство граф М*, - сказал вошедший лакей.

- Выведите скорей барышню, поддержите ее... Ах боже мой! сейчас, просите графа...

Горничные вбежали в залу.

- Ну, выводите же ее. Мне, батюшка, теперь не до вас, - проговорила она, обращаясь к живописцу, - извините... Можете зайти после. Проси графа. - Надежда

Сергеевна подошла к зеркалу.

Живописец посмотрел на нее с ног до головы - и вышел из комнаты. Хорошо, что

Надежда Сергеевна не заметила этого взгляда!

ГЛАВА II

Художник не может быть исключительно только художником: он вместе и человек.

Эленшлегер.

О, если ты для юноши сего,
Во мзду заслуг, готовишь славу рая,
Молю тебя, подруга неземная,
Здесь на земле не забывай его.

...

Да вкусит он вполне твою любовь!
Венок ему на небе уготовь,
Но здесь подай сосуд очарованья
Без яда слез, без примеси страданья.
Гете.

- Неудача, матушка! опять неудача, вечная неудача! Неудачи будут преследовать меня всю жизнь: я создан для неудач!

И молодой человек, произносивший это, бросил на пол шляпу и картину, завернутую в холст, которую держал в руке, упал головою на стол и закрыл руками лицо.

- Полно, дитя мое, - говорила старушка, к

которой относились слова молодого человека, - полно, не убивай себя; бог милостив!

- Бог милостив! да, он милостив, я это знаю; но люди, люди безжалостны, матушка!

У нас нет куска хлеба на завтра; вы можете завтра умереть с голода, а я, сын ваш, я не могу доставить вам только одного куска хлеба... И мне двадцать три года, я здоров и силен, и я вас заставляю умирать с голода! О, это ужасно, ужасно, матушка!..

Он опустил на стул, сложил руки и посмотрел на старушку с страдальческим выражением отчаяния.

- Друг мой, дитя мое! что это ты говоришь? что с тобой? Успокойся. Ты один у меня защитник, ты один у меня покровитель, один кормилец мой. Что бы я была без тебя?

Не ропщи, голубчик! Ты живешь только для своей бедной старухи. Разве могут быть дети лучше тебя, добрее, умнее тебя? Ведь ты моя гордость, ты все для меня. Вот как я смотрю на тебя, так я и сыта, и весела, и счастлива. Перестань же, не отчаивайся...

И старушка смотрела на него с святою любовью матери и недосказанное договаривала

поцелуями.

- Вы сегодня отдали за эту лачужку, за этот чердак последние деньги... О, я брошу проклятую кисть и наймусь к кому-нибудь в услужение!

- Уж чего тебе в голову не придет! - Она старалась улыбнуться. - Еще у меня осталось немного деньжонок; на неделю с нас будет, а там ты сыщешь заказ, и мы опять поправимся. Что ж делать, Сашенька? не вдруг! надо потерпеть и нужду. Не все будет так: оценят твой талант - и все бросятся к тебе; тогда только работать успевай. Мы разбогатеем; ты старушке своей дашь особую комнатку; у тебя будет такая большая, богатая мастерская. Все заговорят о тебе, а мое сердце будет так радоваться... Ты женишься, а я стану нянчить моих внучат, стану баловать их. Ведь старушки бабушки такие баловницы!

- Мечты и надежды! Нет, я уж перестал мечтать и надеяться. Вот скоро четыре года, как я надеюсь на счастливейшее завтра. Что же это завтра так долго не приходит? Те могут надеяться, у кого хоть одна из надежд осуществилась, а я... Да что об этом говорить, ма-

тушка? здесь надо иметь покровителей... Что один талант без них? А где они у меня?

Да, правда, Аграфена Петровна, я было совсем забыл про нее. Вот до чего доводит нужда: эта подлая торговка мне покровительствует, она рекомендует меня, делает мне благодеяние! Бог свидетель: мне не легко было идти сегодня по этой рекомендации, и еще нести образчик своей работы, выпрашивать, ради Христа, подаянья, позволения за какую-нибудь сотню рублей малевать безобразное лицо, тратить на это божий дар! Однако я скрепил сердце и пошел, - но и тут неудача! Право, трудно найти человека несчастнее меня!

- Что же? ей не понравилась твоя работа?

- Она не видала моей работы, я не развертывал этого полотна. Ну, как бы вы думали, что такое? Такие вещи могут случаться только со мной. Я прихожу; человек пошел обо мне докладывать; я жду с четверть часа в грязной передней, наконец слышу чей-то голос и чья-то шаги в зале... Вхожу туда: передо мной стоят две женщины, одна пожилая, другая молодая. Я еще не успел разинуть рта, как этой молодой сделалось дурно, и она едва не

упала, - как будто она только и ждала моего прихода, чтобы упасть в обморок. В это же время доложили о приезде какого-то графа, и госпожа Поволокина просто попросила меня выйти вон, сказала, что ей не до меня. Тут пошла суматоха по всему дому, беготня, крик. Я не помню, как сошел с лестницы.

Александр замолчал; голова его склонилась на грудь. "О, если бы знала матушка, - подумал он, - если бы она могла себе представить вполне, как становится тяжка моя жизнь, что я перенес и перечувствовал в эти годы! Мне часто кажется, что я никогда не достигну, никогда и никакой известности, потому что я не имею средств на это. Я не в силах ничего произвести, я не сделаю ни шага вперед и останусь навсегда только с одним мучительным стремлением творить. Какая-нибудь мысль поразит меня, какой-нибудь образ очертится в моем воображении, я в жару хватаюсь за кисть - но эта мысль ускользает от меня и сменяется другою мыслию, но это видение, растревожившее меня, исчезает, и перед глазами моими какие-то неопределенные призраки; кисть выпадает из рук моих, я на-

чинаю чувствовать свое бессилие... О, нет ничего ужаснее, как неуверенность в самом себе. Ведь я вижу же перед собою художников, поэтов, которых имена сделались известными, в которых все признают дарования. Они так горды своим сознанием, так недоступно-высоки. Талант - это орел: он сознает мощь свою; он только расправит крылья и гордо летит в небо. А я, неужели в самом деле останусь я вечно с этим неудовлетворенным порывом к созданию? Для чего же мне указали на небо и не дали крыльев?.. Не оттого ли я никак не могу создать до сих пор образа для моей Ревекки?

Сколько времени натянуто это полотно - и что же на нем? один только меловой очерк.

Еще ничего не воплотилось в моей мысли, но сколько раз восставали передо мною тени и этого посланца Авраамова, ожидающего с такою святою уверенностию у колодца благодати господней, и этой очаровательной девушки, которая уже при самом рождении наречена господом женою Исаака! Но это только одни тени; я гонюсь за ними и не могу уловить их! О, как мне грустно!.."

Старушка благоговейно смотрела на сына, она не смела перерывать его думы.

"Голубчик! как он страдает!" - шептала она.

Но через несколько минут Александр вдруг обратился к матери, крепко сжал и поцеловал ее морщинистую руку.

- Ваша правда, матушка, - сказал он ей, - бог не оставит нас. Да. будет его святая воля!

В эту минуту он думал: "Я должен утешать ее, облегчать ее горе, - а я, безумец, еще более ее расстроиваю".

Александр горяча любил свою старушку - и как ему было не любить ее? Она не жила собственной жизнью: ее жизнь был он; она дышала им, она смотрела его глазами, его желания были ее желаниями; она предупреждала и угадывала часто его мысли; она, необразованная женщина, возвышалась иногда до идеи, которая не могла быть ей доступна, и все потому, что эта идея принадлежала ему, высказывалась им. Любовь заставляла ее инстинктивно понимать его. Ее сердце срослось с его сердцем; она решительно не могла представить себе, можно ли отделить его существование от ее?

- Ты переживешь меня, Саша, - однажды сказала она ему, - да ты и должен пережить меня; но кто же у тебя останется здесь, кто же будет ходить за тобою, кто будет лелеять тебя, дитя мое? кто же будет тебя так любить, как я люблю? на кого я тебя оставлю здесь? - и она призадумалась, и слеза заблестала в глазах ее.

- Матушка! кто знает? Воля господня неисповедима: смерть не разбирает лет...

Старушка судорожно схватила руку сына и первый раз в жизни посмотрела на него с выражением глубокой тоски и мучительного оскорбления.

- Бог с тобой! кто тебе внушил такую мысль? - Слезы градом катились по лицу ее; она начала крестить его... - Никогда мне не говори об этом, - слышишь ли? никогда. Я грешна; но я еще не до такой степени прогневила бога, чтоб он меня так наказал... Как могло тебе прийти это в голову?

Весь этот день она казалась необыкновенно печальною; возражение молодого человека произвело на нее сильное впечатление; видно, что ей никогда не приходила в голову

страшная мысль пережить его - и в эту только минуту вдруг, неожиданно, эта мысль представилась ей во всем ужасе.

Александру было около пяти лет, когда умер отец его, бывший постоянно лет двадцать гувернером в Академии художеств. Долго многие художники с уважением вспоминали о почтенном своем воспитателе, строгом и добром, серьезном и веселом, умевшем и шутить и наказывать, которого все любили и боялись. Долго многие из них помнили любимую фразу Игнатия Васильевича, которую он произносил важно, с расстановкою, перебирая обыкновенно большую печатку, висевшую на цепочке по его темно-гороховым брюкам: "Строгость - вещь полезная, а потому необходимая; сначала неприятно, да потом слюбится, ей-богу правда; вспомните и Игнатия Васильевича". Когда

Саша стал подрастать, Игнатий Васильевич иногда, по праздничным дням, приводил его с собой в классы, брал на руки и, обращаясь к воспитанникам, говорил: "Вот вам еще художник, ну кланяйся же им, Сашурка, да проси, чтоб полюбили". Но дитя не слушало

отца, протягивало ручонки к картинам и кричало: "Папа, папа, посмотри, какой человек там, а вон там мальчик с крылышками! Зачем у него крылышки, папа?" Саша не любил игрушек; для него лучше всех игрушек был карандаш, он все черкал им по бумаге и говорил, что рисует того мальчика с крылышками, что висит наверху. Он не любил, когда его брали гулять или в гости, а все просился наверх картинки смотреть.

По смерти Игнатия Васильевича жена его осталась с пенсионом, которым она едва могла только прокормить себя да бедного сына. О воспитании его думать было нечего; сердце ее раздиралось при взгляде на него; она целые ночи просиживала у его постельки, молилась и плакала. Так прошло пять лет. В это время один из воспитанников Академии, по привязанности к старому своему наставнику, в свободные часы учил Сашу грамоте и рисованью. Наконец бог услышал материнскую молитву, нашелся добрый человек, который сжалился над положением этой женщины и определил Сашу в Академию пенсионером на свой счет. Успехи его превзошли все ожида-

ния: им не могли нахвалиться; мать видела в нем своего будущего кормильца, и надежды ее начинали осуществляться, - она отдохнула от горя. Однажды, перед самым выпуском своим, он пришел к матери необыкновенно рассеянный и задумчивый.

- Матушка, - сказал он, помолчав немного, - я назначен в числе тех, которых посылают за границу на казенный счет.

Старушка вздрогнула и со страхом посмотрела на него. Она знала, что Италия была любимой его мечтой, что во сне и наяву почему-то он все бредил этою Италией, несмотря на то, что желание свое посетить ее считал несбыточным. И теперь его сон неожиданно сбывался.

"Я должна расстаться с ним на старости лет!.. - Старушка чувствовала, как кровь останавливается в ее жилах. - Умереть без него!.." - И она едва не упала со стула.

- Ты едешь? - проговорила она наконец коснеющим языком.

- Я остаюсь, - отвечал он твердым голосом. - Я у вас один. Мне ли покинуть вас?

Старушка ожила при этих словах и броси-

лась на грудь сына, обнимала и обливала его слезами, хватала его руку, чтобы поцеловать ее. Она понимала, что он приносит ей жертву, и несвязно лепетала ему:

- Ты со мной всегда! бог благословит тебя!.. Мы не разлучимся...

Напрасно мы стали бы следить за каждым шагом его жизни в эти годы. Грустна и утомительна повесть, в которой действуют два лица: поэт и общество; два лица, чуждые и враждебные друг другу, которые никогда не сходились и никогда не сойдутся. Великий

Гете дивно изобразил в резком очерке жизнь. этого бедного страдальца, которого в мире зовут художником, - и после Гете тысячи брались за этот предмет. Пушкин в десяти выстраданных стихах высказал отношения художника к обществу:

Смешон, участия кто требует у света.
Холодная толпа взирает на поэта,
Как на заезжего фигляра...

Слава! слава!.. Изучите жизни великих творцов и спросите самого себя: легко ли добыли они ее? Вы художник? вы хотите известности, хотите, чтобы вас все знали, чтобы

о вас все кричали? это не так-то скоро, погодите! Прежде, чем о вас заговорит как о человеке какая-нибудь Надежда Сергеевна, надобно, чтобы заговорила ее сиятельство

Антонида Помпеевна; но прежде, чем заговорит ее сиятельство... О, история о том, каким образом получается в свете известность, очень долга...

ГЛАВА Ш

Даже в самые минуты отчаяния и безнадёжности для человека мерцает слабый и бледный луч надежды.

"Мандрагора", ком. Макиавеля.

Дня через четыре после своего странного обморока, Софья сидела на диване вся в подушках; она была бледнее обыкновенного и так слаба, что невольно вздрагивала при каждом неосторожном шуме отпиравшейся двери. На табуретке у ног ее сидела женщина в ситцевом платье, с шелковым пурпурным платком на голове, из-под которого выглядывало серебро волос. Эта женщина вязала чулок и по временам, оставляя спички, устремляла на больную свои глаза, покрывшиеся матом от старости, но еще не вовсе потерявшие выражение.

- Что? полегче ли тебе, моя красавица? а?

- Мне теперь лучше, я только очень слаба.

Не беспокойся, няня.

- То-то, моя голубушка! уж эти болезни, бес

их знает, так вот зря приходят.

Конечно, девическое дело! Лекарства! ну что, помогут, что ли, тебе эти банки-то? Тебе другое надо лекарство: замуж пора, мое дитячко! Как выйдешь замуж, так вот как рукой все болести снимет.

Софья отвернула головку к стене.

- Ну, что отворачиваешься-то? Я правду говорю, матушка; нашелся бы человек хороший - и думать нечего, ей-богу так; мы бы сейчас честным пирком, да и за свадебку.

Что ж, Софья Николаевна! ведь я вас нянчила, так надо же мне и ваших деток понять.

Неужто я не доживу до этого? что, в самом деле?

- Ты говоришь, что она очень бедна, эта старушка?

- Как же, родная! ведь я тебе рассказывала, что я у них года четыре выжила, при покойном-то; нечего сказать, был человек хороший. Ну, тогда они еще жили нешто, а теперь еле-еле перебиваются.

- Ты не поверишь, как мне досадно, няня: я была невольной причиной того, что мамень-

ка не заказала ему портрета. Когда-нибудь на-помню маменьке, чтобы она послала за ним... А что, он разве мало получает за труды свои? ведь он помогает матери?

- Да если бы не он, так она просто бы с голода умерла: пенсионишка-то небольшой, а он все, что выработывает, все ей отдает, сердечный. Да и она в нем, правду сказать, души не слышит.

- Она должна быть такая добрая!.. Да, я вспоминаю, точно, ты мне много прежде о ней рассказывала, когда я еще не знала, что... Мне пришла мысль, няня: я бы желала с ней познакомиться.

Софья пристально посмотрела на няню.

- А что, сударыня, заговорит твоя маменька, коли узнает об этом? - И при сем вопросе няня отложила свой чулок в сторону. - Разве ты не знаешь ее? Статочное ли дело, скажет она, генеральской дочке знакомиться с нищей, которая живет на чердаке!

- Я знаю; но зачем говорить об этом маменьке? Гуляя по утрам, по приказанию доктора, я могу зайти к старушке, а ты предупредишь ее, скажешь, что я так много наслыша-

лась о ее доброте от тебя, что давно желала быть ей чем-нибудь полезной.

Слышишь ли, няня? Ведь тут нет ничего предосудительного?..

- Слушаю, слушаю, матушка! Пожалуй, что с тобой будешь делать? Смотри только не проговорись маменьке, а то она меня, пожалуй, и в дом к себе запретит пускать. Ох ты, моя пташка! да в кого это ты уродилась такая добрая? У самой ничего нет, а все бы помогать бедным!

- Будь покойна, я не проговорюсь... А ты скоро пойдешь домой, няня?

- Через день пойду, родная; тебе теперь, слава богу, полегче, - что мне у вас делать?

И то совсем загостилась. Зайду к Палагее Семеновне, скажу ей, что к ней собирается моя дорогая барышня... Да как пойдешь гулять, возьми с собой Ваньку, матушка: он малый хороший, а Петрушка сейчас перенесет маменьке.

- Хорошо, хорошо, няня.

Софья опустила голову на подушку и закрыла глаза.

Через несколько минут няня посмотрела

на нее и, думая, что она заснула, на цыпочках вышла из комнаты.

Но она не спала, она думала:

"Я хочу видеть эту старушку, хочу видеть ее во что бы то ни стало. Я буду помогать ей сколько могу... Может быть, она полюбит меня, а я отчего-то уже люблю ее заранее... К тому же, взглянуть хоть один раз на художника в том месте, где зарождаются и приводятся в исполнение его мысли... Об этом так давно я мечтаю! О, теперь сны мои, любимые сны мои могут осуществиться! Я бы обо всем этом сказала маменьке, но она не поймет меня, - я должна поневоле скрывать от нее все. Она назовет меня сумасшедшею. В самом деле, не бред ли это, не начало ли помешательства? Сходство того, которого я видела во сне, с ним... это непонятно! Кто бы мог этому поверить? неужели так тесна связь мира духовного с миром вещественным? неужели образы, хранящиеся в нас, образы, которые душа жаждет видеть в действительности, могут являться преждевременно перед нами и так ясно, так отчетливо?.."

Ровно через неделю после приведенного

нами разговора с няней, Софье в первый раз позволено было пройтись.

Доктор советовал Надежде Сергеевне, чтобы дочь ее гуляла всякий день, даже несмотря ни на какую погоду, и чем больше, тем лучше.

Надежда Сергеевна, имевши особенные причины во всем беспрекословно повиноваться доктору, строго приказала дочери исполнять его волю, прибавив в заключение с принужденною нежностью: "Ты знаешь, друг мой, как мне дорого твое здоровье. Когда ты занеможешь, я сама не своя. Карл Иванович говорит, что тебе необходимо гулять всякий день, а уж ты, милая, знаешь его искусство; к тому же он так привязан ко всему нашему семейству".

И точно, Карл Иванович был привязан к семейству г-на Поволокина: он был необходимым лицом в его доме, не только врачом, но другом дома.

Итак желание Софьи исполнилось. Целую неделю с нетерпением ждала она этого дня, в который позволят ей выйти из душной комнаты подышать свежим осенним воздухом, -

дня, в который она должна увидеть эту бедную старушку... и художника. И вот этот день настал. Няня предупредила мать Александра о приходе своей барышни; няня сказала, что ее добрая барышня непременно хочет с нею познакомиться.

- Уж я таки довольно рассказала о вас, Палагея Семеновна, - прибавляла няня, - и она, моя голубушка, так и рвется к тебе; заочно так полюбила тебя, что все только о тебе и спрашивает.

- Она, видно, не в матушку! - возразила Палагея Семеновна, которая никак не могла забыть приема, сделанного ее сыну.

- Какое в матушку! - И няня пускалась в подробные рассказы о своей Софье.

С трепетом сердца всходила девушка по крутой лестнице в четвертый этаж; ей стало почему-то страшно, когда лакей дернул грязную бечевку, к которой прикреплялся колокольчик; она снова почувствовала болезненную слабость, когда очутилась за дверью в темном чулане, который никак нельзя было назвать комнатою. Старушка, мать

Александра, встретила Софью Николаевну

со слезами. Няня ее, которая была тут же, целовала и миловала свое дитяtko с разными прибаутками. Софья краснела и отвечала безмолвным пожатием руки на сердечные приветствия добрых старушек, которые хлопотали около нее.

- Дай-ка, моя ласточка, я сниму с тебя теплые сапожки, - говорила няня, усаживая ее на стул, когда они вышли из темного чулана в небольшую комнату.

- Не беспокойся, няня; ты знаешь, что я не могу долго оставаться здесь.

- Посидите, матушка! Уж я ждала, ждала вас, мою дорогую гостью.

Не прошло и четверти часа, а Софье сделалось так легко и приятно, что она век бы не вышла из этой комнаты. Простое, непринужденное обращение с ней старушки, ее ласка, прямо от души, без всякой примеси лести, - все это было для нее отрадно и ново.

Когда старушка заговорила о своем сыне, лицо ее вдруг оduшевилось, глаза загорелись: она была полна счастьем, она помолодела. Софья с восторгом следила за каждым ее движением, с восторгом слушала ее речи. "Вот

что такое любовь матери!" - невольно подумала она.

Софья между тем рассматривала комнату, в которой находилась. Комнатка эта, в два окна, образовала правильный четвероугольник, в который свет проходил сквозь верхние стекла рамы, ибо два нижние стекла были заставлены исчерченными мелом и карандашом картонами. Мебель этой комнатки состояла из старинного стола красного дерева, из пяти плетеных стульев, четырех целых и одного на трех ножках, на котором брошена была палитра и кисти, - из большого станка, на котором стояло натянутое на рамку полотно, исчерченное мелом, да из двух недоконченных портретов, стоявших в углу комнаты на полу. Не так представляла себе Софья мастерскую художника. "Где же его произведения? - подумала она, - тут ничего нет. Где же они?" - И она невольно вздохнула. "Ах, как бы я желала увидеть его мечты, его мысли, осуществившиеся на полотне... Хоть один, недоконченный очерк, хоть какой-нибудь отрывок мысли!"

- Вот, матушка, - сказала старушка, - вот в

этой комнате у нас все - и мастерская

Саши, и наша гостиная, и зала, и столовая, - все; только там еще есть маленькая каморка, - это моя спальня. - Потом старушка принялась рассказывать о том, каким горестям, каким оскорблениям часто подвергался сын ее, зарабатывая себе и ей кусок насущного хлеба.

Сердце Софьи разрывалось от негодования в продолжение рассказа старушки; наконец она не выдержала полноты чувств, бросилась к бедной матери, обняла ее и потом молча пожала ей руку.

Такого горячего, такого искреннего участия давно не встречала старушка; она хотела поцеловать эту руку, но та вспыхнула и отдернула ее. Они обнялись и поцеловались. С этой минуты принужденность в обращении их исчезла; старушка забыла, что перед ней сидит генеральская дочь, дочь той барыни, которая так приняла ее сына.

Когда в передней зазвенел колокольчик, Палагея Семеновна радостно вскричала:

- А! Это Саша. Как я рада, что он пришел: я вам его сейчас представлю. Ведь он у меня

молодец.

И она почти побежала навстречу входившему сыну.

- Вот он, родная; вот мое сокровище, утешение моей старости. - И она одной рукой держала его руку, другою гладила его щеку.

Александр, краснея, кланялся Софье; она привстала, минуты чрез две нечаянно взглянула на него, - он пристально смотрел на нее; лицо ее также вспыхнуло. Румянец - загляденье на смуглом личике! Софья была прелестна...

Старушка все что-то говорила: няня поддакивала ей; Софья Николаевна слушала или казалась слушающею.

Он пристально смотрел на Софью.

Вдруг она вздрогнула, будто испуганная:

- Мне уж давно пора домой. Я засиделась у вас. Быстро встала она со стула и подбежала к столу, на котором лежала ее шляпка.

Старушка и няня опять захлопотались около нее.

- Не забывают же меня, навещайте; я уже не знаю, как и благодарить вас. Не хворайте, Софья Николаевна; дайте-ка я с легкой руки

перекрещу вас. Прощайте, прощайте! - Софья целовала добрую старушку.

Подходя к дверям, она во второй раз взглянула на него, она почти незаметно наклонила свою голову в знак прощанья.

Старушка проводила Софью Николаевну до половины лестницы и, возвратись, качала головой.

- Как ты это не догадался проводить ее! Что это с тобой сделалось?.. А какая милая, добрая барышня!.. Дружочек мой, тебе надо было хоть с лестницы свести ее. Уж этого приличие требовало... Что с тобой?..

Александр, казалось, не слышал упрека матери. Он неподвижно стоял на одном месте; глаза его с любовью устремлялись на какой-то предмет, верно для него одного видимый. Он, как Гамлет, готов был заговорить с своим видением.

- Сашенька! что ты это, голубчик? Да ты и не слышишь меня.

Он огляделся кругом, он бросился к матери с выражением полной радости:

- Матушка! матушка! я нашел мою Ревекку, я нашел ее.

Старушка с недоумением посмотрела на него.

- Ах ты, голубчик мой, да где же ты это нашел ее?

- Она была здесь, у вас, матушка... Вот она сейчас только вышла отсюда.

Старушка снова и еще с большим недоумением и даже беспокойством посмотрела на сына.

- Сейчас вышла? Да это генеральская дочка, Софья Николаевна.

- Это она, она-то и есть, моя Ревекка! Теперь моя картина кончена!.. О, вот какое лицо мне нужно было для Ревекки! Так вот что, несмотря на мучительные усилия, никак не могло создать мое воображение!..

ГЛАВА IV

Влюбиться можно, так; но он не дворянин, И вряд ли, сударь, он имеет даже чин, Девушка же она известнейшего рода, Супруга выбрать ей не можно из народа. Старинная комедия

- Не может быть, Аграфена Петровна, не поверю. Просто тут нет никакого вероятия.

И Осип Ильич, говоря это, ходил большими шагами по комнате, качал головой и закрывал уши ладонями.

- Нечего затыкать уши. Что я? сплетница, что ли, какая, торговка уличная, как

Алена Прохоровна? Нет, батюшка, не таковская: уж у кого у другого, а у меня от сплеток- то язычок не отсохнет. Я имею, слава богу, знакомство хорошее, известные фамилии, - не то, чтобы арнаутов каких!

- Статочное ли дело?.. О, боже мой, боже мой! - расхаживая, говорил себе под нос

Осип Ильич и время от времени пожимал плечами, хмурил брови и делал различные

жесты руками... - Шутка сказать: дочь такого важного чиновника! Неужели?.. И вы говорите, Аграфена Петровна, что она сама бывает, с позволения сказать, у этой бабы всякий день, и что это продолжается почти уже около полугода, и что тот при ней в нанковой куртке, без всякой конфузии, так вот себе и пачкает кистью?

- Говорят тебе, что да; нечего пялить глаза-то. И старушонка-то говорит ей ты...

- Ты! ах боже мой!.. дочери такой особы? она? господи! Ну, до каких же это времен мы дожили, Аграфена Петровна! Уж что ж после этого осталось?

- Говорят, что манишку подарила ей, собственными руками вышитую...

- Собственными руками?.. Непонятно! просто непонятно!

- И ситцу на платье, чепчик с кружевами и с лентами у мадамы на Невском на заказ сделан!

- На заказ! фу, боже мой! И, я думаю, ведь что стоит в магазине на Невском!

- Не шутите теперь, Осип Ильич, с Палагеей Семеновной: в честь попала!

- Вот воспитание, Аграфена Петровна! Вот вам извольте воспитывать детей!

Благодарение богу, что не имеем их, истинно так... - При этом Осип Ильич перекрестился.

- Скажите, так это нянька-то и познакомила их? - спросил он, подумав немного. -

Дома не знают, а она как будто гулять, да и туда? Ай-яй-яй! Неужто, в самом деле? От кого, же вы об этом проведали, Аграфена Петровна?

- Говорят тебе, что от ихней кухарки; ведь она ходит к нашей, - все и порассказала.

- Ну что ж ей там за компания, скажите на милость?.. Просто, что называется - постичь не могу!

- Уж в Алексашеньку не влюбилась ли? Чего доброго! каких чудес не бывает.

- Она... в него влюбится? ей в живописца, в простого? Да помилуйте ради бога! он, я думаю, и двенадцатого класса не имеет? Ни за что!.. Ну, похоже ли это на дело? Ведь этого и в романе не написали бы, ей-богу, не написали бы! Невероятно...

- Заладил свое! а я так всему верю. Испор-

ченная девчонка - вот тебе и кончено; куры да амур, он - то, а она - это; вот и влюбились. Долго ли тут? Не велика премудрость: знаем мы эти шашни!

- Послушай, Аграфена Петровна! Да что же он-то такое? Просто, с позволения сказать, живописец; ну, а она - дочь такого человека, черт возьми!.. Это уж из рук вон...

Конечно, у него есть искусство - ни слова: очень живо рисует; ведь вот посмотри на стену

- как вылитый; нечего и говорить: второй я, и владимирский крест, все это как будто в самом деле, так что пощупать иной раз хочется... Ну, да оно все-таки живописец, больше ничего!

- И притом еще дрянной мальчишка, не может до сих пор моего портрета списать.

Да и твой писал сколько, времени! Мать, проклятая баловница, говорит: некогда.

Уважение всякое потеряли к нам; а я еще, дура, рекомендую его по всем домам, распи-наюсь за него... Никакого чувства нет... Другие бы из благодарности... Знают, что знакомство хорошее имеем, и в таком чине... Друго-

му бы лестно было, сам бы приставал:

"Позвольте списать; да когда же?" По мне, я вам скажу, неблагодарный человек хуже всего на свете. Пьяница, вор, беспутный лучше...

- Именно так, неблагодарность хуже всего. Это, так сказать, мать пороков... - После сего Осип Ильич несколько призадумался. Через минуту он снова продолжал, сначала тихо, потом постепенно возвышая голос: - Дочь почтенного человека, в таком ранге!

Ведь, кажется, и пословица сама говорит: яблоко от яблони не далеко катится. Верь после этого пословицам! Тут формально ничего не разберешь: в карете четверкой ездит, в комнатах и бронзы, и лампы, и вазы, и черт знает что, только птичьего молока недостает!

Ей таскаться всякий день на чердачишко, по поганой, прости господи, лестнице?.. Тут,

Аграфена Петровна, сказать вам мое мнение, есть что-то такое, не то, чтобы без чего-нибудь неспроста, уж как вы мне ни говорите!

- Погоди немножко: я о малейшей подробности разведую; ни одного вот обстоятель-

ства не пропущу; докажу ему, этому мальчишке, да и матери-то его, что я значу. С нами шутить! Нет, брат, не туда заехал. Увидит он, что такое Аграфена Петровна.

Или он забыл, молокососишка, что я полковница, что у меня отец был статский советник, имел Анну с брильянтами на шее? Сама Надежда Сергеевна, превосходительная, да и та имеет ко мне особенное уважение. Других чиновников жены и порога-то ее не нюхали; а он мальчишка! - некогда, извольте видеть, ему портрета моего списать. Послушан, Осип

Ильич, как я разужнаю все аккуратно, так ты при случае, как пойдешь к генералу по делам, разговорившись, и вверни словцо: "Усердие-де мое известно вашему превосходительству: вот уже более двадцати лет, как хожу по вашим делам, питаю, дескать, к вам неограниченную привязанность, что ваша-де фамилия дороже мне, чем... ну понимаешь?..

Слышал стороною, что Софья Николаевна списывает с себя портретец, видно сюрпризом вам, сама-де ходит на самый чердак в мастерскую к живописцу..." Знаешь, умненько этак, чтобы он не рассердился, да с покорно-

стию; мина-то чтоб была несколько печальная...

- Знаю, знаю, матушка! В мои лета и дослужившись до такого чина, не учиться стать этому. Прилично ли только это будет, Аграфена Петровна? а?

- Еще бы нет! А там увидишь, какое это на его действие произведет, да, может, тут же и грянешь, что живописец этот человек молодой, что хоть его и рекомендовала, дескать, моя жена вашей супруге месяцев с восемь назад тому, - но теперь сама раскаивается, что он-де поведения нетрезвого, замечен в разных шалостях, что хоть он и живет с матерью, но мать поблажает его во всем, оттого-де они в самом бедном состоянии.

- Тут нужна большая деликатность, большое уменье; дело весьма щекотливое.

- В том-то и речь... Ах, если бы я на твоём месте!

- Да уж и я не ударю себя лицом в грязь, поверьте, Аграфена Петровна!

- А что ж твоя награда-то засела? долго ли это будет? Ведь ты можешь попросить его, чтобы он за тебя похлопотал у директора.

Скоро и денежные награды раздавать будут!

- Точно, скоро, скоро. - Осип Ильич понюхал табаку. - Да; но неужли ж обойдут?..

Странно! отчего это я сегодня позабыл смочить табак: пыль, совершенная пыль, в нос так и бросается.

При сем Осип Ильич чихнул так громко, что Аграфена Петровна вздрогнула.

- Тьфу, бес! он и чихать-то по-человечески не умеет. Вы меня совсем перепугали, Осип Ильич!

Аграфена Петровна, кажется, располагала не ограничить своего гнева одною этой фразою, но в ту минуту, к счастью Осипа Ильича, вошла в комнату, расшаркиваясь и покашливая, улыбка, в вицмундире.

- А! Ласточкин! - воскликнули в одно слово Аграфена Петровна и Осип Ильич.

- Что скажешь, любезный? - продолжал последний начальническим тоном.

- Ничего, ничего-с, Аграфена Петровна; так зашел, гулял-с.

- И зашел очень кстати, - прошептала Аграфена Петровна. - Что новенького? - заговорила она громко, обращаясь к улыбке.

- Все по-старому, ничего-с, обыкновенно все так идет, как шло-с.

- Ну что стоишь? положи, брат, шляпу.

- Я на минутку-с зашел только проведать о вашем здоровье-с и об Аграфене Петровне-с.

- Да что, я думаю, и чай? Скоро и семь? Эй, Машка! поставь самовар. Остаься у нас чай пить.

- Чувствительнейше благодарю-с, Аграфена Петровна, нельзя-с: есть кой-какие делишки.

- Ну какие там у тебя делишки! Оставайся. Улыбка повиновалась и, покашливая, села.

- Что Анна Афанасьевна? Давно ты у нее был?

- Третьего-с дни только из Гостиного пришла, а я в дверь-с: купила шелковой материи по четыре рубли аршин пюсового цвета с отливом; холстинки-с для дочери; да платочек, так не самой большой, розовый-с.

- Видно, есть чем жить, Осип Ильич, не по-нашему! Только и слышу, что в

Гостиный ходит - по четыре рубли аршин материи себе покупает! Видно, побочные есть

доходцы: с одним жалованьем-то не нафинтишь много. Ну, а муж?

- Не совсем доволен был-с, упрекал, что дорого, мало торгуется-с.

- Старый дурак женился и такую волю дал, что смотреть противно, и поделом ему.

Она ему даст себя знать. А экзекуторша что?

- Антон Михайлович дрожжи заказал ей круглые-с, вроде маленькой колясочки-с, с крышкой от дождя, и к лошади приценяется-с, рассказывал об этом прошедший раз в департаменте-с.

- Завтра доклад, - поморщиваясь, начал Осип Ильич. - Что, брат, переписал то отношение, о взыскании?..

- Готово-с, утром предоставляю.

- Полно, Осип Ильич, об отношениях ваших: и в присутствии успеете наговориться. Слава богу, много есть времени... Нет ли чего-нибудь еще новенького?

- Чиновник, который недавно определился к нам-с, без жалованья-с, - изволили слышать? - из ученых, в университете обучался и собственный экипаж имеет...

- Знаю, знаю.

- Так он вчерашнего числа приехал в департамент позже одиннадцати часов и, с позволения сказать, в клетчатых брюках, в таких вот, что простые женщины на передниках носят, пресмешные-с!

- Вишь, какой барчонок! Послушай-ка, Елисей Федотович! - Аграфена Петровна встала, взяла за руку улыбку в вицмундире и отвела в сторону.

- Знаешь ты Средневского?

- Никак нет-с. Что это, чиновник?

- Какой чиновник! Живописец.

- Никогда не встречался-с!

- Тем лучше. На днях утром отправься к нему как ни в чем не бывал; скажешь, что слышался о нем, желаешь-де списать с себя портрет, - да смотри, ни слова о нас!

Слышишь ли? Сохрани боже, чтобы ни малейшего подозрения не было, что мы тебя подослали... Покуда будешь с ним говорить о цене, о том, о сем, а сам незаметно, знаешь, и осматривай все. Он живет с старухой матерью, но нет ли еще кого в комнате, не сидит ли тут барышня, такая черномазенькая, и

как с ней обращается живописец и мать его, и как барышня эта смотрит на живописца... Все подметь, прислушивайся также, что они говорят, уши-то наостри да смотри в оба.

- Хорошо-с, Аграфена Петровна; а кто эта барышня? смею спросить.

- Тебе до этого дела никакого нет. Исполняй только, что велят.

- Слушаю-с.

- Да смотри, все со всеми подробностями и ту же секунду перескажи мне.

- Больше ничего-с?

- Ничего.

- А насчет портрета, так это для шутки-с?

- Разумеется. Это только, чтоб иметь предтекст взойти к нему; скажешь, что подумаешь, после зайдешь... мало ли что можно сказать!

- Извольте, с великим удовольствием-с.

- Да смотри, осторожней... Выпей еще чашку чая, да сухариков-то возьми... А об этом, что я говорила, никому ни гу-гу.

- Будьте спокойны, что касается по части скромности-с...

- То-то, а уж и я тебя не забуду.

Улыбка низко поклонилась.

"Ох, смерть хочется мне понасолить этому
молокососу! - думала Аграфена

Петровна, - пренебрегает чиновниками!
живописишка, пачкун, дрянь! Высоко голову
занес, пригнуть надо: если бы его проучить
хорошенько... вот славно бы! Узнал бы, голуб-
чик, что значит не хотеть списать портрета с
Аграфены Петровны".

"Совершенно запутанное обстоятельство! -
думала улыбка, - какая-то барышня, живопи-
сец, старушка, донести обо всем... А впрочем,
мне что до этого! Видно, Аграфена

Петровна знает, в чем дело. Исполняй, что
велят, да и баста! Ведь она сказала, что меня
не забудет!! А Осипа Ильича ведь она держит
в ежовых рукавицах!"

Осип Ильич думал: "Какими бы это сред-
ствами поскорее дослужиться до действи-
тельного статского советника?"

ГЛАВА V

Не то благо, что делает счастливым, но то делает счастливым, что благо.

Фихте.

Чиновница Теребенкина была права. Софья всякое утро просиживала по несколько часов у старушки Средневской, строго исполняя совет Карла Ивановича, который, несмотря ни на какую погоду, непременно всякое утро советовал ей ходить гулять.

Надежда Сергеевна, говорят, была очень довольна продолжительными прогулками своей дочери, тем более, что Карл Иванович аккуратно всякое утро посещал ее по долгу доктора. Обращение Надежды Сергеевны с дочерью сделалось с этого времени заметно лучше.

Софья оживала. Мать живописца так любила ее! Старушка часто говаривала ей с этим пленительным простосердечием простой женщины, у которой - что на уме, то и на языке: "Родная моя, вот как ты да мой Саша со

мною, так, право, мне и ничего не надобно".

И она не замечала, что на лице Софьи выступала краска от этих слов; ей и не приходило в голову, что тут есть от чего краснеть молодой девушке.

Чиновница Теребенкина была права: старушка, точно, говорила Софье Николаевне ты, и если бы еще знала Аграфена Петровна или Осип Ильич, что об этом сама Софья просила ее! Чепчик с кружевами и манишка, точно, были подарены ею Палагее

Семеновне; но Аграфена Петровна, по свойственной ей привычке украшать рассказ, прибавила, что этот чепчик куплен на Невском в магазине, хотя он сделан был, как и манишка, собственными руками Софьи. Она шила эти вещи по ночам, и то еще со страхом, чтобы об этом не узнала мать ее. Что же касается до подаренного ею ситца, то это принадлежало также к украшению рассказа почтенной чиновницы. Надобно было видеть восторг старушки, когда Софья отдавала ей свои подарки и сказала, что это ее труды.

- Вот, Саша! - говорила старушка сквозь слезы, - порадуйся, друг мой! вот бог дал мне

на старости кормилицу. Он, милосердый, даст и тебе счастье, моя родная, - продолжала она, обращаясь к Софье, - за то, что ты так утешаешь старуху, что ты не гнушаешься бедными.

И Софья в эту минуту, точно, была вполне счастлива. - Да какая ты рукодельница, моя матушка! Посмотри-ка, Саша, а? (старушка рассматривала свой чепец). Какой нарядный! В воскресенье же обновлю его к обедне.

Все это происходило чрез два месяца после описанного нами первого дня знакомства Софьи с Палагеей Семеновной.

Между тем Александр трудился над своей Ревеккой. Картина его шла чрезвычайно удачно; он был весел, как дитя, отказался от выгодных заказов, для того чтобы посвятить все время на свою любимую картину. Старушка кой-как перебивалась: она получила за треть свой пенсioen, и у нее оставались еще деньги, вырученные Александром за портрет какой-то сорокалетней барыни с розой в руке, писанной им в последнее время.

Еще раз чиновница Теребенкина была права: Александр писал свою картину в присутствии Софьи. Софья, казалось, уже принадле-

жала к их семейству; без нее было скучно старушке: так она привыкла к ней в самое короткое время. Если день или два ее не было, Палагея Семеновна тосковала; покачивая головой, она беспрестанно говорила: "Что это сделалось с моею Софьею Николаевною? сколько времени не видать ее! не занемогла ли она, моя голубушка? Сохрани бог!.." Александр тоже в тот день, когда не приходила

Софья, был сам не свой; он чувствовал себя в нерасположении, хотел задумываться и ничего не думал, как будто вдохновение его непосредственно зависело от ее присутствия... Случилось, что ее не было дня три; на третий день Александр, облокотясь на руки головою, сидел у стола, в состоянии совершенного бездействия; он несколько раз принимался за кисть, но тотчас же бросал ее и опять впадал в тяжелое и мучительное бездумье: никогда тоска так не давила его.

Он взял книгу, отвернул переплет и с полчаса просмотрел на заглавный лист.

Книга закрылась сама собою. Так прошел целый день.

"Что со мною делается? - подумал он. -

Неужели мне так скучно, потому что я давно не видал ее? Разве ее присутствие становится для меня необходимостью?"

Он вздрогнул, до того испугался этой мысли. "Какой вздор! - говорил он самому себе, - разве это в первый раз со мною?.. Выдаются иногда такие несчастные дни - без всякой причины тяжело и грустно... Но если она больна? Опять об ней! да что же мне за дело до ее болезни?"

И он старался смеяться над самим собою.

Но когда, на четвертый день, он увидел Софью, сердце его внятно заговорило, что она очень не чужда ему, и это убеждение увеличивалось по мере того, как он узнавал ее.

Однажды, разговорясь с старушкою о своих детских воспоминаниях, она невольно перенеслась мыслию в то блаженное для нее время, которое провела она в деревне.

- Мне там было легко и свободно, - говорила она, - то были самые счастливые дни в моей жизни. Я так живо помню все это... Когда мы приехали в деревню, после долгой дороги, и когда я вошла в ту комнату, которую мне назначили, - поверите ли? - я запрыгала от ра-

дости, я беспрестанно повторяла: как весело! В комнате моей, кроме дивана, двух стульев и старинного круглого зеркала, не было никакой мебели; но эта комната, не знаю почему, мне очень понравилась. Долго я не могла заснуть, мне хотелось поскорее утра; несколько раз вскакивала я с постели и подбегала к окну, но ничего не могла рассмотреть. Утомленная дорогой, я проснулась довольно поздно; горничная моя отворила окно, и ветви сирени, акации и жимолости, густо разросшиеся возле и прислоненные к стеклу, вдруг ворвались в мою комнату. На меня так приятно пахнул свежий воздух, смешанный с ароматом цветов. О, это было чудесное июньское утро - в

Петербурге нет таких! Сирени были в полном цвету, роскошно качаясь на ветках, колеблемых утренним ветерком, и отражаясь в зеркале, которое висело против окна. Я соскочила с постели, чтобы сорвать цветок сирени, несколько минут впивала в себя запах, потом начала вглядываться в ее красивые формы и искать счастья. Вы не можете себе представить моей радости, когда я отыскивала лепесток

о шести листочках: я начала прыгать, как сумасшедшая, целовала лепесток и кричала горничной моей: "Посмотри, посмотри, какое счастье нашла я!" С тех пор я уж не искала счастья в сирени!.. Когда я оделась и вышла из своей комнаты, мне сказали, что маменька дожидается меня на террасе, что там приготовлен чай. То, что все наши люди называли террасой, была, в самом деле, длинная галерея, выходившая в сад. В середине ее был спуск на дорожку сада, полузаросшую травой. Эта дорожка шла прямо по небольшой площадке и вдруг упала вниз, исчезая в разросшихся под горой кустах ракитника, а там, за этими кустами... о, я никогда не забуду моего восторга! - там была река, такая чудесная, точно наша Нева. Как игриво разливалась она на просторе и как красиво ее струи золотились солнечными лучами! Так это-то Кама!.. Ах, как здесь хорошо! - думала я. Маменька не обращала внимания на мою восторженность, отдавая различные приказания управителю. Не допив чая, я сбежала вниз по дорожке, раздвинула своею рукою густые ветви ракитника, и струя воды плеснула к ногам моим; я от-

сторонилась, обернулась назад, посмотрела вверх - и передо мною из густой рощи дубов и кленов красиво возвышался старинный двухэтажный дом наш, с длинным балконом наверху. Это была очаровательная картина!

Долго любовалась я видами, глядя то на Каму, то на крутой берег ее, по которому так роскошно и живописно разрослись вековые деревья. Я была поражена дикою прелестью этой местности. Никогда мне не было так приятно; в первый раз в жизни я почувствовала таинственное сродство человека с природою. Вышед из задумчивости, я вдруг с резвостью десятилетней девочки взбежала на гору и пошла по едва заметной тропинке.

Тропинка эта так узорчато вилась между деревьями, что голова моя начала кружиться. Я сделала еще несколько шагов и очутилась на краю крутого оврага; я прислонилась к первому дереву, чтоб отдохнуть. Деревья спускались в овраг в живописном беспорядке, и одно из них росло у самой окраины, совершенно горизонтально к земле, касаясь своею вершиною другой стороны оврага. Это был мостик, живописно брошенный природою. Я

отдохнула. Прямо против того места, где остановилась я, за оврагом, на небольшом возвышении, чернелась старая, некрашенная деревянная церковь. На дороге мне часто попадались такие церкви, и я не могу передать вам того странного впечатления, какое они производили на меня. С храмом божьим прежде в моих понятиях неразлучно соединялась идея великолепия, и когда я увидела в первый раз простую деревянную церковь, без всяких украшений, уединенно стоящую в поле, поодаль деревни, а за нею кладбище, с красными и черными крестами, - у меня сжалось сердце; мне стало грустно, но это была грусть приятная, какое-то унылое спокойствие. И в этот раз со мною сделалось то же самое. Прислонясь к дереву, я не сводила глаз с этой церкви. Что-то таинственное показалось мне в этом отсутствии наружной пышности здания. Почерневшие от времени доски, покрытые мхом, местами поросшие травою, и маленькое деревцо, выросшее у самого карниза колокольни, - все это мне показалось лучше мрамора, узорчатых капителей и колонн греческого храма. В скромной простоте

этой старинной деревенской церкви, об украшении которой заботились не люди, а природа, я видела глубокое значение. Наглядысь на эту церковь, я тихо пошла назад, но еще раз невольно обернулась, чтобы взглянуть на нее. Никогда не забуду я этого утра; мне было так весело, что только одна мысль не нарушить чем-нибудь этот сон счастья, эту гармонию души моей, изредка заставляла меня вздрагивать. И я боялась встречи, я не хотела идти в дом, я чувствовала, что если бы кто-нибудь увидел меня в эту минуту - один взгляд, один звук голоса расстроил бы все, отвел бы от меня это отрадное спокойствие... Быть одной - вот что мне было нужно, и я долго, долго ходила одна. Только шелест моего платья да колебание листьев напоминали мне, что я живу, - так это чудное состояние моего духа было похоже на отсутствие жизни. Вечером я сидела на галерее и смотрела на Каму, - она была подернута румянцем зари. Направо от меня густые деревья чернелись на золотом поле неба, а там, за Камою, развевалась неопределенная даль. Чувство бесконечного - это дивное чувство я ощу-

тила в первый раз. Как жалки показались мне эти люди, которые находят все счастье жизни в бестолковой и удушливой светской суетности. "Они далеки от бога, - подумала я, - потому что они бесчувственны к природе". Я долго сидела на этой галерее, долго смотрела на розовую зыбь реки... Уже она начинала бледнеть, уже синее становилась отдаленность, лес почернел совершенно, вода перестала дышать и застыла гладким свинцом. Я молилась...

Что совершалось в душе художника в эту минуту, когда говорила она?

Он стоял, скрестив на груди руки и не отводя глаз от нее. Как бы хотелось ему слова ее превратить в краски, рассказ ее перенести на полотно! Это была бы чудесная картина, думал он... Сумрак объял все - и воды, и лес, и неизмеримое пространство полей... На картине нет людей, только одна она - эта девушка, благоговейно созерцающая необъятное величие творца в творении...

- Уж мастерица рассказывать, - сказала старушка, приподнимаясь со стула и смотря на своего сына, - нечего говорить - мастерица!

Словно соловей поет. Постой-ка, матушка, вот я схожу на кухню, и ту же минуточку возвращусь к тебе.

Старушка вышла. Они остались вдвоем. Это было в первый раз. Минуту они оба молчали, потом она оборотилась к нему.

- Что, вы скоро закончите вашу картину? - спросила она его робким голосом.

- Не знаю, право; может быть, недели через две, через три.

Она подошла к станку.

- Вы мне позволите посмотреть?..

Александр вдруг изменился в лице при этом вопросе, - она еще не видала оконченным лицо Ревекки.

Он стоял перед нею, как преступник, потупив голову и не смея взглянуть на нее.

Долго и пристально смотрела девушка на это полотно, чародейно одушевлявшееся под перстами его, и вдруг, может быть, узнав себя в Ревекке, как будто испуганная этой мыслью, вздрогнула и оборотилась к нему... Ни он, ни она не сказали ни слова, но он и она поняли друг друга.

- Я не мог выразить в этом лице того, что

хотел, - решился наконец заметить он. -

Горе иметь посредственное дарование! лучше быть простым ремесленником.

"Таково сомнение гения, - подумала она, - так сомневался и Корреджио".

- Я не могу дать жизни этим глазам, - продолжал он после минуты задумчивости, - посмотрите, они не говорят так, как те глаза, которые я видел, не теплятся чувством, как они.

Он ждал ответа и решился взглянуть на нее. Ответа не было, и, кроме тяжелой грусти, ничего не выражало лицо ее. Она отошла от станка и прислонилась к стене. Тогда кто-то постучался у дверей в прихожей, она вздрогнула. В комнату вошел, низко раскланиваясь, какой-то человек в вицмундире, с зеленоватыми крошечными глазками, которые двигались с удивительною быстротою из стороны в сторону.

- Вы господин Средневский-с, живописец? - спросил он, обращаясь к Александру и улыбаясь.

- Я. Что вам угодно?

- Извините-с, что вас беспокоил, - имею желание списать с себя портрет, то есть не

собственно для себя, а так, единственно по просьбе одной моей знакомой девицы.

Пристает все ко мне: спишите, говорит, портрет с себя. Видно, желает иметь вроде сувенира, что ли-с, уж не могу вам достоверно сказать. Вас мне рекомендовали с весьма отличной стороны-с.

Тут глаза чиновника встретились с глазами Софьи - и он заикнулся.

- У меня нет времени исполнить ваше желание, - говорил Александр, невольно улыбаясь и выпроваживая его от себя самым учтивым образом, - обратитесь к кому-нибудь другому.

- Очень хорошо-с, не взыщите, что помешал-с, что... - Он еще раз искоса посмотрел на Софью и начал пятиться к двери, озираясь между тем кругом и заглядывая на картину.

- Эта картина не кончена, ее нельзя смотреть! - вскрикнул Александр, взяв чиновника за руку и отводя его от станка.

- Ах, извините-с! А какая она большая, должно быть-с что-нибудь в роде

"Последнего дня Помпей". Мое почтение-с!

- Прощайте. - И Александр с досадой за-

хлопнул за ним дверь.

Она все стояла на том же месте, прислонясь к стене. Когда он подошел к ней, она сказала:

- Я здесь одна. Где же ваша матушка?

Она хотела сказать: "Я не должна быть здесь одна с вами", - но в эту минуту вошла старушка, кашляя и извиняясь, что захлопоталась на кухне.

В то же утро Аграфена Петровна знала о том, что черномазенькая барышня была в гостях у Палагеи Семеновны и сидела одна с ее сыном. "Вероятно, у них было решительное любовное объяснение, - подумала она. - Хорошо! теперь вы оба, голубчики, в моих руках!"

ГЛАВА VI

Художник! Как я не люблю этого слова. Ну что это такое? Другое дело - барин, вот это слово что-нибудь да значит!

Из разговора барыни.

- От материнского сердца ничего не укроется; поверь ты мне, я очень хорошо вижу, что ты неспроста так печалишься. У тебя есть что-то на душе. Картина твоя, кажись, кончена; все художники не нахвалятся ею, просят у тебя позволения ее выставить, говорят, что ты выручишь за нее хорошие деньги. Чего бы лучше? С помощью божьею мы устроим наши делишки. Уж после этого тебе не нужно будет покровительства какой-нибудь Аграфены Петровны! - Так говорила однажды Палагея Семеновна сыну, который стоял в раздумье перед своею оконченною Ревеккою.

- Нет, я не отдам этой картины, матушка! Пусть люди засыпят меня грудами денег, я не отдам ее и за эти груды! К чему мне будет блеск их золота, когда они у меня отнимут ее?

Нет, я не могу, я не расстанусь с нею ни за что в свете. Вам, может быть, это кажется странным? Но тут, право, нет ничего странного. Художнику тяжело разлучаться с своим созданием, с этим созданием, которое он лелеял и дни и ночи, с мыслию о котором засыпал и просыпался, которое сроднилось с ним, сжилось с его существованием, которое составляет часть его самого, - разлучиться и навсегда! Поэт - другое дело. О, в этом случае он гораздо счастливее художника: его творение всегда с ним! Вы понимаете меня?

Я выменяю эту картину на деньги и не увижу ее более.

- Ну, конечно, если тебе так тяжело расстаться со своею картиною, то оставь ее при себе: спокойствие дороже денег. Видеть тебя, друг мой, веселым и счастливым - в этом все мое счастье. Но ты еще не продал картины, а уж ходишь такой скучный, не пьешь, не ешь ничего. Ах ты, господи! что это с тобою сделалось? Будь откровенен со своею матерью. У тебя никого нет, кроме меня, а вместе и горевать легче, голубчик мой! Боюсь я подумать, не любвишка ли сокрушает тебя! Дело из-

вестное, молодой человек, - еще в этом нет никакого греха!

- Ради бога, оставьте меня, матушка, я прошу вас...

- Друг мой, Сашенька, не говори мне так, не обижай своей старухи. - И слезы катились по лицу ее. - Уж как ты хочешь, а я не оставляю тебя, я и без того долго молчала.

Я знаю, почему ты не хочешь продать своей картины. Причина, о которой ты говоришь, может стать, сама по себе; а есть другая... Ох, не скрывай, от меня этого. Я знаю - я вижу все.

Он посмотрел на мать с выражением глубокой муки; краска вдруг пропала с лица его. И он, безмолвный, грянулся к ногам ее, дрожа всем телом.

- Встань, встань, Саша! Мне и без того тошнохонько... Встань, голубчик. - Она не говорила, а рыдала.

- Родная, мне так легче... - И он целовал ее ноги.

- Встань да садись возле меня. Вот, что я хочу сказать тебе. Послушай меня, старуху: хоть ты и умнее меня, и учение меня, да ты молод,

неопытен. Отца нет у тебя...

Скажи, ты очень любишь меня?

- Можете ли вы в этом сомневаться?

- Да, ты любишь меня... - И она гладила его волосы... - Очень любишь. Экая я дура, об этом спрашивать!.. Но я сама не знаю, что говорю. Дай-ка мне подумать хорошенько. -

Она отерла рукою слезы. - Да, вот что: мы люди бедные и незначащие: нам не должно заноситься высоко. Покойник отец твой говаривал (упокой господи его душу! Никогда не забуду слов его): "Все несчастья оттого происходят, что люди всё, видишь ли, вон лезут из своего состояния, всё хотят выше... Всякий сверчок знай свой шесток"; а покойник никогда ничего не говаривал даром. И мне тоже сдается, уж коли господь бог указал нам наше место, так не будем гневить его и останемся на этом месте, - так, видно, надобно.

Есть и в нашем состоянии девушки хорошие, добрые. Сашенька, друг мой, если можешь, оставь свои мысли - и мы хоть без денег, а все-таки будем спокойны и счастливы. А эта любовь до добра не доведет, вспомни мое слово.

- Мне грешно было бы перед вами скрываться - я должен высказать вам все. Не вините меня, матушка, что я полюбил ее, эту девушку, которая выше меня всем. Что же мне делать? Я и сам не знаю, как это случилось, но я люблю ее, люблю всею силою души моей...

- Что об этом говорить, ее нельзя не любить! Ах, если бы она не была такого знатного происхождения! шутка, дочка такого важного человека! Она-то, голубушка, и не думает об этом, но ты видел ее мать: сам ты знаешь, какая она важная; она нас, простых людей, и людьми-то не считает, а отец ее, говорят, еще гордее.

- Что мне за дело до ее отца и матери? Лишь бы она не пренебрегала мной, лишь бы она понимала меня... И что мне за дело до ее происхождения? Я люблю ее душу, ее ум, ее сердце; кто бы она ни была, для меня все равно. Разумеется, я не могу быть ее мужем, но, божусь вам, мне более ничего не нужно, как глядеть на нее, любить ее, слушать ее речи... Она будет моею светлою мечтою, моим вдохновением, моею святынею.

- Бог тебя знает, что это ты говоришь, Са-

ша! Полюбить - значит захотеть жениться, это так искони века водится. Например, полюби ее какой-нибудь граф или князь, то есть посватайся за нее, ее сейчас выдадут замуж и не спросят у нее, у бедной, и согласия. Это знатные всегда так делают. Он задумался.

- Что вы говорите, матушка? Всегда так делают? Нет, это дельвали в старину, но теперь, когда мы все стали так образованны, - теперь такой поступок считается варварством. Выдать девушку замуж против ее согласия... Невозможно!

- Ничего-то ты не знаешь, как посмотрю я. Еще и такие ли вещи делаются теперь?

Ученость ваша, видно, не помогает. У кого нет доброго сердца, так хватай тот хоть звезды с неба, да что в этом толку? Не будь у нее доброго сердца, она так же бы, как другие, пренебрегала нами и не ходила бы сама, моя голубушка, украдкой от отца и от матери к нам, и не думала бы утешать нас и помогать нам. Бог заплатит ей за доброе дело!..

Старушка замолчала, облокотилась рукой на стул и вздохнула; потом через минуту продолжала вполголоса: "Да и она, как видно, со-

всем забыла нас; сколько времени перестала ходить к нам! Правда, она не от себя зависит. Ну, да что об этом говорить! Будь ты у меня только весел, здоров да молись почаще, и все пойдет хорошо, и старуха твоя будет счастлива..."

- Я буду веселее, будьте только вы покойны.

- А что, ты нисколько не меньше меня любишь с тех пор, как ты полюбил?..

- Еще более, еще более, если это только можно, матушка!

Старушка взяла его голову обеими руками и долго и горячо целовала ее.

Когда она вышла из комнаты, он встал со стула и, мучимый сомнением, начал ходить большими шагами.

"Что, если в самом деле?.. О, дай мне силы, боже, перенести эту мысль! А когда она сама полюбит какого-нибудь графа или князя, когда она скажет ему: да, я согласна - от сердца? Что будет с тобою в ту минуту, глупый мечтатель, жалкий пачкун, маляр, заносющийся так высоко? Ты осмеливаешься класть свою кисть наряду с графскою или княжескою ко-

роною? О, безумец, безумец! До чего дошел я! Из любви к женщине я унижаю тебя, святое искусство, я ругаюсь над тобою!.. Мне казалось, однако, что она равнодушна ко мне, - иногда в ее взгляде я видел более, нежели участие. Но ведь все это могло мне представиться. По доброте сердца она ходила к нам, чтобы помогать моей матери, чтобы утешать ее в несчастьи; теперь более месяца мы не видим ее, верно, потому, что она нашла кого-нибудь еще беднее, еще несчастнее нас!.."

Как смешны бывают вообще предположения!.. Три недели перед этим случилось... но, позвольте, прежде...

глава VII

В породе и в чинах высота хороша... и проч.

Крылов.

Представьте себе большую, продолговатую комнату, убранную следующим образом: три письменные стола, один большой, посредине комнаты, два, поменьше, у окон; на этих столах в строгом, систематическом порядке разложены бумаги в серых обертках с печатными надписями: на каждом из столов стоят чернильницы, и в граненых стеклянных вазочках вложены связки чиненых перьев; множество распечатанных конвертов в беспорядке разбросано между бумагами; посредине большого стола, кроме бумаг, два тома "Свода законов", раскрытый Адрес-календарь, зажженная свечка и бронзовый колокольчик; вычурное готическое кресло средних веков - и на нем брошенный Месяцеслов в золотом обрезе. Стены комнаты украшены тремя портретами министра; один из них неболь-

шой, гравированный, другой еще поменее, литографированный, третий во весь рост, написанный масляными красками, - все три в золотых рамах. К потолку привешена люстра из бумаги, сделанная под бронзу, и в ней необожженные свечи. В одном из углов стоят старинные часы с башенкой. Уголья догорают в камине. На ручке кресел, стоящих у камина, лежат "Академические ведомости". Лучи солнца, проходя сквозь пунцовые занавесы, отбрасывают красноватый цвет на всю комнату. На бумагах и мебелих пыль слоями, на потолке и на люстре паутина висит нитями.

Был одиннадцатый час утра. Человек лет пятидесяти пяти, очень тучный, с заспанными глазами и с блестящей лысиной на голове, в ваточном халате из шелковой материи, прохаживался взад и вперед по этой комнате. Двумя пальцами левой руки держал он золотую табакерку рококо, а указательным пальцем правой руки поворачивал ее кругом; по временам он открывал крышку табакерки, переминал табак в руке и с расстановкою нюхал.

Это был сам г. Поволокин.

При входе, почти у самых дверей, была пригвождена к стене небольшая рыжая фигурка с бессмысленно вытаращенными глазами, с руками, сложенными назад, в вицмундире, застегнутом от первой до последней пуговицы.

Это был один из тех мелких чиновников, которым особенно покровительствовал г.

Поволокин.

- А что, братец, сегодня сильный мороз?

- Сильный, ваше превосходительство!

- Гм, сильный!

При сем г. Поволокин подошел к камину. Минуты две было молчание.

- Ну, а что, братец, нового? Я другой день что-то не вижу "Санкт-Петербургских ведомостей" - а?

- Они находятся у ее превосходительства. Она изволит делать выписки вещам, продающимся с публичного торга.

- Гм. То-то!

Опять минута молчания.

- Да, я забывал все тебе сказать, что это, братец, как у меня в последний четверг играли, такие были скверные карты, - черт их зна-

ет! - ну вот так к рукам и прилипают.

Уж, полно, отборные ли это?

- Отборные-с, ваше превосходительство!

- Да отчего бы они прилипали? Ты при-
сматриваешь ли за Максимкой?

- Я имею постоянный надзор за этим-с.

- То-то! Скажи-ка, братец, Герасиму Ивано-
вичу и Осипу Ильичу, чтоб сегодня к полови-
не двенадцатого приготовлены были мне бу-
маги к подписанию.

- Слушаю-с.

- А после присутствия зайди-ка в Нирен-
бержскую и возьми табаку; у меня весь вы-
шел. Да спроси у Надежды Сергеевны, не нуж-
но ли ей будет курительных свеч или че-
го-нибудь этакого.

- Слушаюсь, ваше...

Чиновник не успел договорить, потому что
дверь кабинета с шумом отворилась в эту ми-
нуту. Он отскочил от двери и низко покло-
нился вошедшей даме.

- А вот, кстати, и сама Надежда Сергеевна, -
заметил супруг. - Здравствуйте, матушка! Не
будет ли каких поручений от тебя, скажи ему
(указывая на чиновника): он пойдет после

присутствия в Ниренбержские. - Надежда Сергеевна при этом слове взглянула на чиновника и едва кивнула ему головой.

Он в другой раз отвесил ей самый низкий поклон; но когда глаза его встретились с глазами Надежды Сергеевны, он вдруг изменился в лице и начал неловко обдергиваться.

Это было не без причины: чиновник очень хорошо изучил игру физиономии ее превосходительства; в одну минуту узнавал он, в хорошем или дурном расположении она находится, так или иначе, таким или другим тоном надобно заговорить с нею... Часто он видал ее в гневе, и в сильном гневе, и никогда не смущался; но в эту минуту глаза ее метали такие молнии, эти глаза были так страшны, что поневоле мороз по коже пробежал у бедного чиновника, поневоле он растерялся совершенно и от убийственной мысли: "Не прогневил ли я чем-нибудь невзначай Карла Ивановича или ее самое", - у него закружилась голова, и светлые точки замелькали перед глазами...

- Мне ничего не нужно, - произнесла она - и, боже, каким голосом!.. У чиновника так и

запрыгало сердце под вицмундиром...

Мановением головы Надежда Сергеевна значительно указала ему на дверь.

Он споткнулся, поклонился еще ниже прежнего и вышел из кабинета.

- Скажите, чтоб никого не пускали к генералу, сказали б, что он не принимает.

Слышите? - закричала г-жа Поволокина печально удалявшемуся чиновнику, полурас-творив дверь и в ту же минуту снова захлоп-нув ее.

Сам г-н Поволокин, кажется, немного смутился, предчувствуя что-нибудь необыкновенное и видя, в каком волнении находилась его супруга.

- Что случилось? что такое, матушка? - спросил он с беспокойством.

- Что случилось? - повторила она трагическим голосом... - Погодите, погодите! что вы так торопитесь? Еще успеете порадоваться. Прежде всего прошу вас, чтоб вы приказали выгнать вон Ваньку. Если б он был мой, я сейчас отдала бы его в солдаты! Да еще строго-на-строго запретите пускать в ваш дом эту пьяницу Федосью, чтоб ее и духа не было здесь,

чтобы она и на нашу улицу не смела заглядывать.

- Гм. В чем же дело-то?

- Дайте же мне выговорить, дайте мне опомниться! Я сегодня всю ночь глаз не смыкала, я... да где это вы были вчера до пятого часа?

- В Английском; очень любопытная была партия: князь Федор Григорьевич, я, граф

Антон Карлович да новоприезжий секретарь посольства.

- Вот как: подумаешь, отец дослужился до такого чина, с такими важными людьми обращается всякий день, приобрел их дружбу, трудится, просиживает напролет ночи, а для кого это? все для своей дочки! Думает, как бы составить ей хорошую партию, - а она, утешение наше, она изволила уже себе выбрать общество без нашего согласия, не спросясь нашего совета.

И Надежда Сергеевна, говоря это, ходила взад и вперед по комнате своего супруга.

Лицо ее было почти багрово от гнева, и чепец, накинутый на невычесанную голову, сбился на одну сторону. В пылу гнева она да-

же забыла о своем туалете, - а это было еще любимое ее занятие, потому что она еще имела претензию пленять.

- Что же это все значит, матушка? Я, то есть, ни полслова не понял, - осмелился возразить супруг.

- То, сударь, что дочка ваша, - и она остановилась прямо перед супругом, - всякий день, под видом прогулки, шляется на чердак любезничать с каким-то мальчишкой, в которого, говорят, влюблена и который обращается с нею, как с равной, и сидит с нею по целым часам глаз на глаз! Вот до какого посрамления мы дожили с тобою, Николай

Мартыныч! Вот вам, - я всегда говорила, а вы только слушать меня не хотели, - вот вам утешение на старости лет от детей!

Г-н Поволокин повел рукою по лбу, выразительно прищелкнул двумя пальцами, вытянул нижнюю губу, посмотрел на Надежду Сергеевну, потупил голову, еще раз потер лоб и прошептал себе под нос: "Полно, не во сне ли это?"

Г-жа Поволокина, к несчастью, услышала этот шепот:

- Во сне! во сне? - закричала она, подступая к нему. - Во сне! Да что я, сумасшедшая, что ли? За кого вы меня принимаете? Вы-то сами не во сне ли? - И она задыхалась...

- Матушка, нет, не то; я хотел попросить вас, чтобы вы рассказали поподробнее...

Ах ты, боже мой! - И он сделал шаг назад.

- Понимаете ли вы? - И она стучала указательным пальцем по столу. - После болезни ее Карл Иванович приказал ей гулять всякий день. Карл Иванович, надо отдать ему справедливость, не отходил от нее во время болезни; я приказала ей гулять с человеком... Ну, а эта проклятая нянька изволила ее познакомить с какой-то старушонкой, у которой сын малюет стены. Она всякий божий день и зачастила туда: обрадовалась, моя голубушка, что нашла по себе общество. Благородная кровь, видно, у нее в жилах обращается, нечего сказать!

- Бог знает, что это такое? Как же вы это узнали? Кто же вам сказал, что влюблена в такого?..

- Тебе давно хотел сказать Терebenъин, да не смел, и ко мне вчера пришла жена его, да

все и порассказала. Спасибо еще ей, - она хоть простая, но хорошая женщина, - плакала, рассказывая. Живописишка этот ей родня, да уж и она отрекается от него, потому что пьяница, негодный мальчишка. Она было его, месяцев с восемь тому, рекомендовала мне, и я имела глупость позволить такой дряни прийти ко мне писать портрет с меня!

Хорошо, что я его выгнала тогда, не помню почему, - он пришел не вовремя. И, вообрази! мать его хвастает везде: знайте, говорит, наших! в моего сына влюблена дочка знатного человека и сама навязывается нам. Как со мной паралич не сделался, как я это услышала!

- Да, да, да! ай-ай-ай... Что тут прикажешь делать? Ну, а спрашивала ли ты у нее, правда ли это?

- Я после этого и видеть-то не могу ее, не только спрашивать. Не угодно ли вам будет послать за ней теперь и порасспросить ее при мне обо всем? Посмотрим, что она заговорит. А Ваньку, который за ней ходил, сегодня же выгнать из дома.

- Так позвать, что ли, ее?

- Нет, лучше оставить так, - пусть позорит ваши седые волосы...

Г-н Поволокин позвонил.

- Попросите ко мне Софью Николаевну.

Через минуту она вошла в кабинет.

Глаза бедной девушки были болезненно-томны, и густой румянец, которого у нее никогда не было, покрывал ее щеки. На ней было темное ситцевое платье, совершенно закрытое, и голубой платочек на шее; но, несмотря на эту простоту одежды, в ее походке, во всех ее движениях было столько благородства, столько непринужденности, что вы везде и во всем отличили бы ее с первого взгляда... Она подошла к отцу и хотела поцеловать его руку, но он отдернул ее... Сердце ее сильно забилося; она взглянула на мать - и поняла все.

- До нас, - начал Николай Мартыныч, не смотря на нее, - доходят такие странные слухи, такие, что, признаюсь, я никак не мог... Это просто ни на что не похоже, невероятно...

- Что же вы молчите? - закричала Надежда Сергеевна, - извольте отвечать вашему отцу, он ждет вашего ответа.

- Я не знаю, что угодно сказать батюшке.

- Вы не знаете? а? это прекрасно! Расскажите ему, как вы ходите на чердак, из любви к живописи, смотреть, как там какой-то маляр пачкает кистью. Вы берете уроки у него, сударыня, или он снимает с вас портрет, или вы служите для него?.. Вы думали, что я так глупа, что ничего не знаю?

Кровь бросилась ей в голову, однако она отвечала твердым голосом:

- Матушка, выслушайте меня прежде, а потом оскорбляйте, если вам угодно. Я только виновата в том, что без вашего позволения ходила к бедной, но благородной и честной женщине, думая ей помочь чем-нибудь. Правда, у этой женщины есть сын, живописец, молодой человек, образованный и с дарованием; но я ходила к ней, к старушке, к его матери, не думая, чтоб это было преступление.

- Слышите? она еще осмеливается грубить нам. Это ужасно! Благородная женщина, молодой человек, образованный, с дарованием! Так это ваша компания, сударыня? К тому же вы лжете: старушка эта побродяга, а, сын ее негодяй и пьяница.

- Матушка! для чего вы оскорбляете честных людей, матушка!..

- Замолчи! Слышишь ли? Я, твоя мать, приказываю тебе, - молчи! Вот ваша литература, вот ваши писатели до чего довели вас! как хорошо они образовали вас!.. Вы унижаете себя и хотите, вместе с собою, затоптать и нас в грязь, - нас! Нет, это уж слишком! Вы кладете нас заживо в гроб, зарываете в могилу? Прекрасная дочь! Вместо того, чтоб идти все выше и выше, помогать возвышаться отцу, как это бы сделала другая, благородная дочь, вместо того, чтоб поддерживать знакомство княгини Д* и ее дочери, стараться войти к ним в дружбу, сделаться домашней в их доме и через них составить себе блестящую партию, вы, сударыня, вы... да мне и говорить-то с вами стыдно!.. вы сводите дружбу с такими тварями, которые могут ходить только к нам на кухню. Вы не смейте с сегодняшнего дня называть меня вашею матерью, - вы влюбляетесь... - При этом слове

Надежда Сергеевна захохотала. - Влюбляетесь... Что, ведь вы, говорят, влюблены в сына этой торговки, этой старушонки?

Отец все ходил по комнате, покачивая головою и повертывая в руках табакерку.

Силы оставляли бедную девушку; она прислонилась к стене, боясь упасть; кровь застыла в ней; ей было холодно, она дрожала всем телом... Вдруг, при последних словах матери, она как бы очнулась от смертного обморока; щеки ее снова зарделись пурпуровым румянцем; глаза странно засветились. Она приподняла голову и посмотрела на мать:

- Да, - сказала она, - я влюблена в ее сына, в сына этой старушонки, я в него влюблена!..

Это была ужасная минута: у г-на Поволокина выпала из рук табакерка, а г-жа

Поволокина сделала какое-то странное движение и остановилась; она усиливалась что-то произнести, но язык не повиновался ей.

Удушливая тишина перед грозой, минута гробового молчания, - только маятник стенных часов стучал мерно и однозвучно. Сердце несчастной билось неровно и мучительно, дыхание ее становилось тяжелее и тяжелее; наконец скорыми шагами и с угрожающим видом; Наежда Сергеевна подошла к дочери.

- Знаешь ли, что я могу проклясть тебя? что я проклянущу тебя? Понимаешь ли ты, что такое проклятие матери?

Она вытянула руку над головою страдальщицы и вперила на нее глаза свои.

Та застонала, бросилась от нее, упала к ногам отца, уцепилась за его ноги и умирающим голосом сказала:

- Спасите меня, спасите, батюшка! спасите меня!

У Николая Мартыновича закапали из глаз слезы...

Чувство отца, может быть, впервые взяло верх над чувством чиновника, но он не смел ей сказать слово утешения в присутствии своей неумолимой супруги: он приподнял и, незаметно наклонясь, поцеловал ее в голову, прошептав: "Поди в свою комнату!"

Она вышла из кабинета.

Когда, без памяти, она добрела до своей комнаты и упала в кресла, блуждающими глазами обвела она кругом себя и облокотилась на стол, который стоял перед нею. На этом столе лежала книга в старинном кожаном переплете, с медными застежками. Эта

книга была евангелие. Девушка перекрестилась слабеющею рукою, развернула книгу, хотела читать, но в глазах ее потемнело; голос ее замер, голова скатилась на книгу... Она лишилась чувств.

Оставшись в кабинете глаз на глаз, супруги долго ни слова не говорили; потом

Надежда Сергеевна презрительно взглянула на Николая Мартыновича и сказала:

- Вы, старый плакса, вы избаловали эту девчонку; теперь пеняйте сами на себя, - и вышла из кабинета, громко хлопнув дверью.

Николай Мартынович вздохнул, подошел к одному из столов, взял банку с одеколоном и потер себе виски.

ГЛАВА VIII

Все это честолубие и честолубие от того, что под язычком находится маленький пузырь и в нем небольшой червячок, величиною с булавочную головку, и это все делает какой-то цирюльник, который живет в Горюховой.

Гоголь.

После этого рокового утра Софья слегла в постель. Болезнь, которая давно таилась в ней, теперь обнаружилась со всеми ее странными признаками и с каждым днем развивалась больше и больше. Лицо девушки все горело румянцем, и глаза как-то странно светились. У нее отняли последнее утешение: к ее страдальческому изголовью не допускали эту добрую старушку-няню, которая прежде заменяла ей мать, и последние дни свои на земле она должна была проводить без приветов, без ласки. Но няня каждый день ходила тайком к людям, прове́дывать о здоровье своего ненаглядного сокровища и всякий день залива-

лась слезами. Отец раза два в день на минуту приходил к постели больной дочери, и она, как ангел, улыбалась ему, говорила всякий раз: "Мне сегодня полегче", - и целовала его руку. Раз как-то он проговорился в присутствии своей супруги:

- Она, кажется, не жилища у нас; надо бы позабыть все прошедшее.

И Надежда Сергеевна разгневалась и закричала:

- Не беспокойтесь; поверьте, что она очень живуща.

Но когда Карл Иванович, через неделю после этого, объявил, что у нее в сильной степени развилась чахотка, которая давно скрывалась в ней, и что вряд ли она проживет с месяц, Надежда Сергеевна призадумалась, и с этой минуты она, говорят, стала снисходительнее и внимательнее к умирающей. Впрочем, она никогда не оставалась долго с нею; не знаю, может быть, совесть, а может быть, и равнодушие были тому причиной.

Обрученница смерти, бедная девушка, казалось, вполне примирилась с своею участью.

Несмотря на страданье и болезнь, лицо ее

выражало совершенное спокойствие: видно, она чувствовала себя счастливее. Часто заставляли ее пристально смотрящую на образ спасителя, стоявший у ее изголовья. В эти минуты уста ее шевелились, произнося молитву, и эта молитва изливалась слезами, которые капались по впалым щекам ее.

Страшно видеть человека, избалованного земным счастьем и не приготовленного к святым таинствам загробного бытия, когда смерть внезапно налагает на него ледяной перст свой, когда она отмечает его вдруг своею разрушительною печатью; но смотреть, как потухает жизнь несчастливца, у которого ничего не остается, кроме высшего обетованного блаженства, кроме надежды на милосердие господя, - о, это совсем другое!..

Да, смерть - или безобразный скелет с острою косою, или светлый ангел, разрушающий земные узы, или душная и тесная яма, которую зовут могилой, или радужные крылья, уносящие в беспредельность и вечность...

Для нее смерть была светлым ангелом. В самую тяжкую минуту жизни она прикосну-

лась к ней и прошептала: "Пора! Я буду твоей спасительницей, мера страданий твоих начинается переполняться..."

Девушка перекрестилась и подумала: "Благодарю тебя, господи, ты сделал меня участницей твоей благодати. Ты принял мои кровавые слезы, ты услышал мои горячие молитвы!"

Прошел месяц, и лицо ее так изменилось, что трудно было узнать ее. Она беспрестанно забывалась; видно, какие-то образы носились перед нею, потому что она говорила:

- Вот он, в последний раз я могу посмотреть на него; вот она; благословите, перекрестите меня, будьте мне матерью: я с вашим крестом лягу в могилу.

- Она бредит, - говорили люди, окружающие ее.

Однажды, проснувшись, она почувствовала себя слабее обыкновенного.

Беспокойство и желание чего-то вдруг выразились на лице ее. Она подозвала горничную.

- Поддай мне перо и бумаги, - сказала она, - я хочу писать.

Рука ее дрожала так, что она едва могла написать несколько строк; потом прочла написанное, отодвинула чернильницу, посмотрела еще раз на свою записку и спрятала ее под подушку.

Через два дня после этого, часу в десятом утра, она попросила к себе свою мать.

Надежда Сергеевна явилась в ту же минуту и села у ее постели. Бедная девушка, казалось, собиралась с силами, чтоб начать говорить.

- Ну что? как твое здоровье, милая?

- Я чувствую, что час мой близок, матушка. Я хотела бы причаститься святых тайн.

Но прежде чем приступлю к этому великому делу, я должна просить у вас прощенья. Я так много, хоть и неумышленно, огорчала вас. Простите меня... - И слова ее беспрестанно перерывались кашлем, и дыхание становилось слышнее и тяжелее; она силилась приподняться с постели, чтоб упасть к ногам матери.

- Вы видите, - продолжала она, задыхаясь от усиленного движения, - я хотела бы лежать у ног ваших, но не моту... Бог прощает всех,

по своему милосердию... Простите меня.

Голова ее упала на колени матери - и она запекшимися устами искала руки ее.

Мать приподняла ее и положила ослабевшую ее голову на подушку.

- Моя совесть, - сказала Надежда Сергеевна дрожащим голосом, - в отношении к тебе чиста: я готова предстать на суд божий, пусть он нас рассудит с тобою; я всегда хотела твоей пользы, хотела видеть твое счастье. - Она взглянула на образ и вздрогнула. -

Я прощаю тебя.

- Перекрестите меня! - произнесла больная едва слышно.

Надежда Сергеевна перекрестила ее.

- Теперь у меня еще одна просьба к вам, добрая матушка, одна... Допустите ко мне мою няню; я хочу проститься с нею.

Тень неудовольствия пробежала по лицу Надежды Сергеевны; но она тотчас скрыла это.

- Изволь, моя милая, я согласна.

- Благодарю вас... Еще я не хочу ничего скрывать от вас, и могу ли я скрываться в такие минуты? Я поручу няне отнести записку

к матеря этого живописца, к простой и честной старушке; она любила меня без всяких видов: я только прощаюсь с нею в этой записке, больше ничего. Вы сделаете мне и это снисхождение?

В этот раз брови матери грозно надвинулись на глаза, так что она вдруг не могла расправить их. Судорожное движение гневно покривило ее губы; однако чрез минуту она успокоилась и отвечала:

- Пожалуй, если ты этого непременно хочешь...

- Прикажете же послать за нею и за священником; мне непременно хочется причаститься сегодня. Скажите батюшке.

К вечеру больная сделалась беспокойнее.

- Что же нет няни? - спрашивала она, - послали ли за священником?

Она вполголоса читала молитвы и по временам вздрагивала и прислушивалась, нейдет ли кто. Дверь скрипнула, точно кто-то вошел на цыпочках.

- О, это она, это моя няня! - произнесла Софья шепотом, - теперь мне легче.

В самом деле, то была она. Старуха шла к

постели умирающей, глотая слезы и заглушая в груди рыдания.

- Няня, няня! это ты? - И девушка протянула к ней руки и улыбнулась, - я уж совсем не думала видеть тебя; подойди ко мне поближе.

Старуха не выдержала, взглянув на свою вскормленницу; она зарыдала в голос, бросилась на колени перед нею, схватила ее руку - и целовала ее, обливая слезами.

- Голубчик мой, красное мое солнышко! - приговаривала она, - думала ли я, что господь бог приведет меня увидеть тебя такой? Сердце-то мое пополам разрывается, глядя на тебя. Ох, лучше бы мне, горемычной, не дожить до этого часа! Пташка ты моя ненаглядная!.. улетаешь ты от нас далеко. Уж возьми и меня с собою!

Она еще что-то говорила, но слов нельзя было различить: эти слова сливались в отчаянный, безнадежный вопль.

- Прощай, родная моя няня! молись только обо мне богу; не плачь - я счастлива; только мне так тяжело дышать... Положи руку ко мне на грудь, вот так. Исполни мою последнюю просьбу, няня: возьми эту записку, отдай

ее, когда меня не будет, Палагее

Семеновне. Она меня любила, поклонись ей от меня, скажи, что я ее не забыла. Как мне становится тяжело, няня!

В эту минуту священник вошел в комнату с святыми дарами; отец и мать подошли к ее постели. Она простилась с ними.

- Теперь ненадолго оставьте меня. Я хочу быть одна, - сказала она, - хочу приготовиться к святому причастию.

Все отошли. Отец заливался слезами, няня рыдала, закрыв лицо передником; мать смотрела в окно, приподняв стору, хотя на дворе было темно, как ночью; умирающая молилась...

Через четверть часа три человека ее приподняли, прислонили к подушкам, так что она могла сидеть, и отошли.

Священник в полном облачении приблизился к ее постели... Непродолжительна была исповедь; он причастил ее. После совершения обряда она так уже ослабела, что едва могла пошевелить рукою; но когда няня подошла к ее изголовью, она посмотрела на нее, но уже едва могла прошептать:

- Записку, няня, мою записку... да где ты? У меня вдруг потемнело в глазах. "Во имя отца..." - Это было ее последнее слово.

Еще несколько минут... раздался звонок в передней, и слышались чьи-то шаги.

- Доктор приехал! - сказала Надежда Сергеевна, - я узнаю его походку, - и побежала к нему навстречу.

Карл Иванович подошел к постели больной посмотреть на нее, взял ее руку: рука была холодна; наклонился к лицу ее: дыхания не было слышно... Он осмотрелся кругом, все ждали его слова. Он произнес вполголоса:

- Она скончалась!

Из груди отца вырвался стон; Надежда Сергеевна перекрестилась, сказала:

- Его святая воля! - и подняла к глазам платок. Няня бросилась к умершей, закричала страшным, раздирающим голосом:

- Нет, постойте, может статься, она жива еще, мое дитятко; дайте мне отогреть ее! - и припала к ее постели.

Не знаю, сколько времени пролежала бедная старуха у ног ее, только вдруг она почувствовала, что кто-то тянет ее за платок. Она

оглянулась, открыла глаза: перед нею стояла Надежда Сергеевна.

- Довольно и без того слез и крику в целом доме. Поди за мною.

Старуха едва могла приподняться и кой-как поплелась вслед за нею. Надежда

Сергеевна пришла в свою спальню, заперла дверь за вошедшею няней, которая прислонилась к стене, чтоб не упасть.

- Отдала ли тебе Софья Николаевна записку, чтоб отнести матери этого живописца?

- Отдала, матушка.

- Где же она?

- У меня, со мною.

- Дай мне ее сейчас; я не хочу, чтобы записка моей дочери была в руках у... - Она не договорила. - Ну что же? Поддай мне эту записку. Я приказываю тебе.

- Я не отдам ее вам ни за что! Делайте со мной, что хотите.

- Как ты смеешь?.. Я тебя не выпущу из дома.

- Убейте меня, старуху, коли вы не считаете это грехом, а тогда берите и записку.

- Дерзкая грубиянка! ты погубила дочь

мою знакомством с этими тварями и еще осмеливаешься противиться мне; ты уморила ее!

Старуха вся затряслась, как в лихорадке.

- Нет, матушка ваше превосходительство! За нее, мою кормилицу, будет кто-нибудь отвечать богу, только не я. Не я уморила ее.

Она подошла к Надежде Сергеевне.

- Сказать ли вам, кто ее убил, матушка? Я знаю - и скажу это так же перед вами, как и перед богом. Я простая женщина...

- Кто? кто? - вскрикнула в бешенстве Надежда Сергеевна, сверкая глазами.

- Вы, сударыня! извините меня, я простая женщина: у меня что на уме, то и на языке.

Верно, такого ответа не ожидала Надежда Сергеевна, потому что она покачнулась и удержалась только рукою за кровать.

- Вон, вон с глаз моих! - прошипела она, - чтобы и духа твоего не было в моем доме!

Александр скоро узнал о болезни Софьи, и хотя ни он, ни мать его не думали, чтобы болезнь эта была так опасна, но они оба беспокоились, тем более, что няня ее давно не приходила к ним. Александр раз как-то попытал-

сы узнать о здоровье Софьи

Николаевны у людей г-на Поволокина, но из ответа их не мог вывести никакого заключения. Все эти люди смотрели на него подозрительно и нехотя, односложно и грубо отвечали: "Больна, лежит". Он спросил Ивана, того самого человека, который всегда ходил за нею, - ему сказали, что он более уже двух недель как не живет у них. Дни медленно тянулись для старушки и ее сына - и вот в один вечер, когда они сидели вдвоем, сильно зазвенел колокольчик. Они оба вздрогнули и посмотрели друг на друга.

- Кто б это в такую пору? - сказала Палагея Семеновна.

Был час седьмой вечера. Александр со свечой пошел отворять дверь.

Он отворил дверь - и отшатнулся. Перед ним стояла няня Софьи. Голова ее тряслась, седые волосы беспорядочно торчали из-под платка, она все запахивала полы своего сапога. Александр хотел ее спросить, "что с нею?" - и не мог. Наконец она сказала:

- Ух, как сегодня холодно! Не топится ли у вас печка, дайте, ради Христа, погреться... Я

едва дотащи́лась досю́дова.

И Александр, с предчувствием чего-то страшного, смотрел на нее.

- Что с тобою, Федосья? - спрашивала Палагея Семеновна, сажая ее на стул, - откуда это ты? Где ты так назяблась? Я сделаю тебе чаю, ты немножко поотогреешься.

- Нет, вы уж не отогреете моих старых костей! Зажилась я, глупая баба, на свете; полно! Пора и честь знать... Дитятко мое сердечное! И могилку-то ее так скоро занесло снегом! Разрою этот снег, непременно разрою.

Александр почувствовал, что ледяные иголки колют его в темя.

У Палагеи Семеновны заби́лось сердце.

- Что это, не помешалась ли ты, Федосья?

- Помешалась! лучше бы помешаться, матушка Палагея Семеновна! - Она вынула из-за пазухи какую-то бумажку. - Вот вам весточка от моей барышни: приказала вам кланяться. Я сейчас только от нее. Она переехала в спокойное местечко.

Палагея Семеновна дрожащими руками развертывала бумагу, в которую вложена была записка.

- Позвольте, я прочту, матушка.

- Нет, погоди, погоди, Саша! - И старушка надевала очки. Она едва могла разобрать следующее:

"Благодарю вас за те немногие минуты счастья, которые вы мне доставили. И теперь, когда смерть возле меня, я вспоминаю об этих минутах; даже, мне кажется, только еще и живу этими минутами. Помолитесь о той, которая любила вас от всего сердца!

Скажите вашему сыну, что он счастливейший человек в мире, потому что вы его мать.

Пусть он бережет себя для вас и для искусства. До свидания - там! С*".

Старушка сняла очки. Крупные слезы лились по лицу ее.

- Господи! Помяни во царствии своем рабу свою Софию! - прошептала она, перекрестившись.

Четыре дня и четыре ночи после этого вечера Палагея Семеновна прострадала, не смыкая глаз. На ее руках умерла в горячке няня Софьи.

- Друг мой, не убивай себя и своей старухи, - говорила Палагея Семеновна сыну, когда

все в их квартирке приняло прежний порядок после похорон старушки-няни, - подумай только о том, что наша Софья Николаевна теперь счастливее. Ты знал, какова была ее жизнь. Отслужим-ка лучше по ней панихиду, помянем ее и помолимся о душе ее.

- Матушка! Я не могу забыть ее... Она была моим небесным видением, моею мечтою о счастии. О, если б вы заглянули в мою душу! Но скоро, может быть, скоро и я успокоюсь. О, люди отвратительны, матушка!.. Я не хочу жить! Но я пойду к этому чудовищу, к этой убийце...

- Что это значит? ты не хочешь жить? Боязливо она посмотрела на сына.

- Признаюсь вам, я хотел бы умереть, матушка!

- Уж не хочешь ли ты?.. Да помилует тебя бог!.. А твоя мать? твоя мать? или уже она для тебя ничего? О, подумай о бедной твоей матери! - И старушка бросилась к ногам его, и голос ее был вопль отчаяния, звуки страдания невыносимого. - Хоть не для меня, друг мой, хоть не для меня, не я прошу тебя, - ты не слушаешь меня, если я тебе буду говорить,

что такая смерть есть грех ничем не искупимый, ты все-таки не слушаешь меня! Но ты забыл слова ее, она приказывала тебе - это была последняя ее воля - беречь себя для твоей матери... Я достану тебе ее записку, перечти ее хорошенечко: воля усопшей

- святая воля, нельзя противиться ей. - И старушка захлебнулась слезами; голова ее упала на пол. Александр забыл все; он бросился на колени перед лежавшей на полу матерью, приподнял ее и крепко прижал к груди своей.

- Простите меня, матушка! Я безумец, я не знал, что говорил. Бог свидетель, что с этой минуты вся жизнь моя принадлежит вам, вам одной!

Через две недели после похорон дочери его превосходительства у Осипа Ильича был вечер по случаю получения им давно ожидаемого награждения, - и вечер, правду сказать, на славу!

На этом вечере не было особы ниже надворного советника; шампанское лилось, что называется, рекой: надо же было вспрыснуть награду! Аграфена Петровна удивительно

расщедрилась и разлюбезничалась, даже сама подносила бокалы некоторым особенно почетным гостям.

- Мастерница угощать Аграфена Петровна! - сказал толстый и плешивый чиновник другому, тоненькому, с сердоликовой печаткой внизу жилета.

- Уж эту честь ей надо отдать! Знаете, что я вам скажу: великое дело угощение, то есть, просто от него все зависит в доме.

- Точно-с, справедливо-с заметить изволили.

- Да, да, я вам скажу, что надо уже так родиться на это: найти каждому сказать личное словцо, к тому, к тому подбежать, с картой ли или с бокалом. В этом состоит умение жить, светское обращение.

Толстый чиновник говорил прекрасно, и около него постепенно составилась кружок слушателей. Таково всегда действие истинного красноречия! Все внимали ему с разинутыми ртами, и сам Осип Ильич не утерпел, подошел его послушать с двумя своими приятелями, с Марком Назарычем и Николаем Игнатьевичем.

- Вот я, - продолжал оратор, - я бываю везде, во всех лучших обществах, и уж пригладелся ко всему. Часто все хорошо, и угощение, и то и сё, а все недостает чего-то, - просто души нет в обществе. Конечно, нам, частным людям, нельзя давать такие балы, как, например, в Благородном собрании. Кто и потребует этого? Ну, там и комнаты большие, и освещение; одни свечи сколько стоят! ослепнуть можно, я вам скажу. Но мы, если не тем, так другим должны брать: мы, - я говорю о частных людях. Внимательность хозяйки, любезность - вот что приятно в гостях.

- Точно, точно! - слышалось со всех сторон.

- Его превосходительство господин Поволокин, ихний знакомый (оратор указал пальцем на Осипа Ильича), - человек отличный, барин - уж нечего сказать, и мало говорит, а что-то есть в улыбке располагающее, - и это, я вам скажу, много значит: как взглянет, и комплиментов не нужно. Жаль мне его, душевно жаль! Экое, подумаешь, несчастье: лишиться дочери. Впрочем, она всегда была что-то такая больная на вид. И мать-то бедная! ах, ка-

кая потеря!..

- Говорят, - сквозь нос заметил один чиновник, тоже очень важный и серьезный, - она была влюблена... правда ли это? Что-то странно... в какого-то живописца, да, знаете, занемогла по сему случаю и умерла.

- Да и я слышал-с, - закричал кто-то тоне-хоньким голоском, - тут было что-то не совсем чисто-с; она...

При этом толстый чиновник так взглянул на пискуна, что тот совсем смешался и замолчал, а Осип Ильич в ту же минуту скрылся, когда услышал, что разговор принимает такой щекотливый оборот.

Чиновник, который говорил в нос, наклонился к уху красноречивого чиновника и прошептал:

- Что она была влюблена в живописца и тайком видалась с ним - это достоверно.

Между нами, мне это дело рассказывала Аграфена Петровна подробно; по дружбе, пожалуй, я вам расскажу все когда-нибудь. К тому же об этом уж многие начинают шушукать.

- Черт знает! - возразил красноречивый чи-

новник. - Унизиться до такой степени, и еще кому же? Дочери чиновного человека! Скажите, пожалуйста, кто бы это мог подумать?

- Антон Гаврилыч! В бостончик! - кричала Аграфена Петровна, подходя к статскому советнику. - Партия ваша составлена. Я уж всем разнесла карты. Вот вам осталась кёровая дама.

- Очень приятно-с, Аграфена Петровна!..

**This file was created
with BookDesigner program
bookdesigner@the-ebook.org
20.06.2008**